



исторические романы о любви

Елена Арсеньева



Опальная
красавица

Елена Арсеньева
Опальная красавица

«Автор»

2006

Арсеньева Е. А.

Опальная красавица / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2006

ISBN 5-699-16584-3

Избавившись от жестокого супруга, опальная графиня Елизавета Строилова кинулась в водоворот рискованных приключений и чувственных наслаждений. Вновь дорогу ей перешел разбойный атаман Вольной, некогда смутивший ее невинную душу... Однако судьба не устает ставить ловушки отважной красавице! Невзначай выяснилось, что напрасно пыталась она избыть роковую любовь к молодому князю Измайлову: родовое проклятие больше не властно над ними. Да вот беда: князь Алексей считается погибшим, а над Елизаветою снова нависает черная тень таинственного Ордена венценосцев... Книга также издавалась под названием «Шальная графиня».

ISBN 5-699-16584-3

© Арсеньева Е. А., 2006

© Автор, 2006

Содержание

1. Кукла	5
2. Дом на Варварке	14
3. Ведьмина дочь	25
4. Кладбищенский страж	32
5. Судьба играет	41
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Елена АРСЕНЬЕВА

ОПАЛЬНАЯ КРАСАВИЦА

1. Кукла

Такого нудного лета она в жизни не помнила! Конечно, Елагин дом не в счет; да там и не жизнь была вовсе, а полусонное ожидание. Но потом случилось лето на Волге, и лето в Эски-Кырыме, и лето странствий с Августою... Немудрено, что лето в Любавине казалось унылым!

Одно хорошо: Валерьян и его кузина оставили Елизавету в полном покое. Она сперва приписывала это шумиловским кулакам, или цыганскому колдовству, или пробуждению в муже жалости. Однако рассудительная Татьяна враз поставила все по местам:

– Иль не знаешь, что государь Петр Федорович волею божией помре? Теперь царицею Катерина Алексеевна, она в случае чего графу нашему спуску не даст! Что ж, если он вовсе безумный? Ну а потом, разве ему сыночка-наследника иметь не хочется? Вот и притих пока. Но знай: только ты родишь, как он снова за свое примется!

Елизар Ильич совсем поправился, но так исхудал, что даже и против прежней своей худобы казался вовсе былинкою. Отношения его с графиней были дружескими и теплыми. Елизавете, которая уже научилась принимать людей такими, какие они есть или хотят быть, без юношеской к ним нетерпимости и без желания всех непременно переиначить по-своему, удалось ничем не выказать, что ее до глубины души уязвила терпеливая покорность Гребешкова, который как ни в чем не бывало снова впрягся в привычную лямку работы управляющего, тем более что летом работы было невпроворот. Она не знала, что должен был совершить Елизар Ильич, но нельзя, нельзя же было просто так утереться, простить смертные побои и беспричинные, бессмысленные унижения! Впрочем, сама-то она кто такая, чтобы судить? Она-то ведь тоже живет, молчит, терпит... Ну и терпи!

Как-то вдруг, незаметно, березы принакрылись разноцветным платком сентября, потом октябрь занавесил их вуалью дождя. Когда Елизавета вовсе отяжелела и даже двигалась с трудом, не то чтобы блуждать с Татьяною по полям да лесам, она все чаще задумывалась над именем для дочки, почему-то не сомневаясь, что у нее родится именно девочка. Кого бы там ни хотел Валерьян, Елизавета просто боялась думать о сыне, который хоть чем-то может напоминать отца. Ну а дочка непременно должна быть похожа на нее! К тому же ее сильно тошнило в первые три месяца. Коли так, уверяла всезнающая Татьяна, обязательно будет дочка: парней в начале беременности носят куда легче. И в тех движениях, которые Елизавета ощущала, напряженно вслушиваясь в себя, прикасаясь к набрякшему животу, она находила особенную, девичью легкость, ласковость... Впрочем, она не испытала, как ведет себя в утробе матери мальчик, а потому все это была не более чем игра воображения.

Итак, имя! По их с Татьяною подсчетам, родить предстояло в двадцатых числах октября, и они без конца перелистывали святцы: 22 октября – день Казанской Божьей Матери, значит, можно назвать дочь Марией, 28 – Неонила-льняницы, 29 – Анастасии-римлянки... Елизавету раздосадовало, что именно в эти дни каким-то образом затесалась Неонила. Нет уж, так она свою дочь не назовет! Татьяна обмолвилась, что лучше всего окрестить девочку в честь бабушки, но тут же добавила: «Я, конечно, не о тебе говорю; разве мыслимо в ее честь назвать!» – «А почему? – удивилась Елизавета. – Вот, как раз 22 октября – Мария, Казанская Божья Матерь. Очень даже подходит».

Она имела в виду княгиню Марию Измайлову, в девичестве Стрешневу, которая умерла вскоре после похищения Неонилой Елагиной ее малолетней дочки. Ведь если князь Михайла – ее, Елизаветы, отец, то княгиня Мария – покойница-мать, а раз так, бабушка ее дитяти. Но Татьяна удивилась, словно впервые о сем услышала, потом как бы спохватилась: «Ах, да! Я и не поняла...» – и согласилась, что лучше, чем Мария, имени не сыскать. На том они и порешили. И правильно сделали, потому что у Елизаветы все началось как раз 22 октября.

* * *

Всю ночь ей снилось, будто бродит она по колена в речке, переполненной огромными плоскими, как серебряные блюда, карасями с мутно-голубыми глупыми глазами, и ловит, ловит их голыми руками, а рыбы все никак не убывает. Звенела, плескалась вода в речке. И когда Елизавета открыла глаза, этот звон все еще слышался: дождик монотонно стучал в окно.

Говорят, на Казанскую вдаль не ездят: выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях. Денек выдался как раз по приметам: если небо заплачет дождеком, то и зима следом за ним пойдет!

С трудом Елизавета заставила себя встать, причесаться, склониться над лоханью с теплой водой. Всю ее так и ломало. «Хоть бы не захворать, – подумала она сердито, – сейчас не ко времени!» И тут же сообразила, что это не простудная ломота, а какая-то особенная: все тело словно бы тянуло вниз. Испуганно расширив глаза, она обернулась к Татьяне:

– Кажется, начинается!

Но это были еще дальние подступы. Потом, когда воистину началось, Елизавета уже не сомневалась.

Она много слышала разных рассказов про роды, про бабьи мучения, про раздирающие душу вопли и сама постанывала, конечно: спина особенно болела, хотелось лечь на что-нибудь твердое, жесткое, холодное, чтоб не прогибалось. Сняли перины с кровати, но и это не принесло облегчения. Когда же подступили настоящие схватки, ей почему-то сделалось стыдно кричать. Почти не понимая, что делает, зажмурилась, заткнула уши, чтоб не слышать своих тихих, жалобных стонов.

– Ты кричи, кричи, Лизонька! – увещевала Татьяна. – Тужься и кричи!

Но она не кричала, жмурилась, словно пыталась спрятаться от всех. И невольные слезы выступали на глазах цыганки: в этой борьбе Елизаветы с самой собой она видела, сколько натерпелась ее девочка в жизни, как научилась переламывать себя, никому и никогда не подавая виду, что ей плохо, что ей больно, боясь показаться жалкой.

– Дил моз! – бормотала Татьяна и даже сама как бы тужилась, чтобы помочь Елизавете. – Черэн, мутин! ¹ Ну! Еще немного!

Воды хлынули уже поздним вечером; дальше все прошло очень быстро. Когда показалась головка ребенка, Елизавета вдруг поддалась боли и вскрикнула. Но один только раз, потому что Татьяна вскинула раскрасневшееся, напряженное лицо и так рывкнула: «Эт-то еще что такое?! А ну, тихо!» – что Елизавета от испуга замолчала и больше ничего почувствовать не успела: ребенок уже родился.

Время приближалось к полуночи. Татьяна подала ей красненькое сморщенное существо, очень медленно, как бы неуверенно шевелящее скрюченными ручками и ножками и широко раскрывающее рот.

– Вот тебе твоя девонька!

¹ Душа моя! Звездочка, жемчужинка! (цыганск.).

– Ой! – Елизавета, не веря себе, потянулась к дочке, но Татьяна сердито отвела ее руки и положила дитя в сторонке. Ловко перевязав пуповину, вынула послед, подложила под Елизавету чистую тряпицу и только тогда снова занялась девочкой.

Звон в ушах утих. Теперь вокруг стало странное беззвучие! Глаза и разум словно темная тень застила; и не сразу Елизавета поняла, что так и не слышала голоса своей дочери.

– Татьяна!

Цыганка не оглянулась.

– Татьяна! – вскричала Елизавета, делая попытку подняться.

– С ума сошла! А ну-ка, ляг! – сверкнула глазами цыганка.

– Что с ней? – прошептала Елизавета, сдавшись своей слабости, от которой слезы медленно потекли из глаз.

Она робко надеялась, что Татьяна успокоит ее: мол, дитя уснуло, так и должно, но глаза цыганки были суровы.

– Пока плохо, – ответила она прямо. – Кажется, воды наглotalась.

Она вертела девочку так и этак, чуть ли не вниз головой поворачивала. Та все разевала и разевала ротик. Ну прямо как рыбка, выброшенная на берег... У Елизаветы невидимая рука перехватила горло, когда она вдруг поняла, что ее дочь задыхается. Умирает?..

– Дай мне, – воскликнула, протягивая руки, движимая единственным желанием: прижать, успокоить, защитить, перелить в нее все силы, всю жизнь, ибо мир материнской любви и страха враз открылся ей. Татьяна покачала головой:

– Нет. Продай мне свое дитячко!

Елизавета какой-то миг смотрела на нее, не понимая, кто же сошел с ума: она сама или Татьяна? Ужас прожег ее. Черные глаза, впившиеся в ее зрачки, не позволяя слова молвить, шевельнуться не давали. Из них изливалась какая-то напряженная мысль, словно Татьяна пыталась заставить ее понять что-то... Елизавета нашла силы одолеть свой животный, безрассудный страх и попытаться угадать, чего хочет от нее Татьяна.

Тьма, все еще клубившаяся вокруг, мешала думать и понимать, но сила, исходившая от этих плавающих очей, была такова, что пробудила в сердце Елизаветы былое безоглядное доверие к Татьяне, и она покорно, как зачарованная, кивнула в ответ на новое требование:

– Продай мне свое дитячко! Продашь?

– Да... – покорно прошелестела Елизавета, не понимая, о чем говорит. – Да!..

– Вот тебе за нее.

Татьяна сорвала с шеи небольшое, простенькое серебряное монисто, которое не снимала даже на ночь, как нательный крест.

– Держи! Серебром за девочку плачу! – выкрикнула она, словно в комнате, кроме них, был кто-то еще, кому и предназначались эти слова.

И внезапно Елизавете почудилось, что вокруг стало светлее и как бы просторнее. Будто и впрямь некто незримый услышал слова Татьяны и исчез. Довольный, нет ли, бог весть, но, главное, исчез, отступился. Сошелся в цене! ²

Она наконец-то смогла перевести дыхание и вздрогнула от тихого, слабенького писка, который показался ей отраднее ангельских труб. И тут же, словно наверстывая упущенное, дитя закричало изо всех своих новорожденных сил, а Елизавета рухнула на подушку.

Она видела, что Татьяна плачет, обмывая и пеленая девочку, и понимала, что это уже совсем другие, счастливые, слезы.

– Это Машенька? – наконец спросила Елизавета, словно только сейчас осознав свершившееся, и Татьяна улыбнулась, обмахнув глаза рукавом:

² По народному поверью, если «купить» у родителей больного ребенка, пусть за самую мелкую монету, он выздоровеет.

– Машенька, кто же еще?

– А она хочет есть? – спросила Елизавета, озабоченно трогая грудь: налилась ли?

– Сейчас пока нет. Разве что завтра отобедает, если пожелает.

«Какое счастье!» – подумала Елизавета, опуская тяжелые, каменные веки и не вполне понимая, в чем именно счастье: рождение Машеньки или то, что она не голодна. Спать хотелось до изнеможения. Спа-ать!

Белая поземка уже закрутилась в голове, но тут же Елизавета вскинулась с новым любопытством:

– А глаза? Какого цвета у нее глаза?

Татьяна осушила обмытую девочку полотенчиком, потом слегка принакрыла пеленкой и поднесла к кровати:

– Сама погляди.

Елизавета попыталась поймать крошечные, шевелящиеся пальчики.

– Не пойму, – шепнула чуть слышно, боясь испугать девочку. – Голубые, что ли?

Сонно закатывающиеся глазки были молочно-сизые, странные...

– Пока не определить, – пожала плечами Татьяна. – Но, пожалуй, потом они будут карие. Точь-в-точь как у деда.

«Значит, у князя Измайлова карие глаза», – подумала Елизавета, отчаянно зевая, но ответить было уже свыше ее сил. Она уснула еще до того, как голова коснулась подушки. И немало дней и даже месяцев должно было пройти, прежде чем она вспомнила этот разговор и поняла, что имела в виду Татьяна.

* * *

Убедившись, что родилась девочка, Валерьян рассвирепел не на шутку. Выходит, Татьяна была права: он ждал появления сына!.. Сразу вновь начал пить, в доме заколобродили гости (правда, ни князь Завадский, ни тем паче Потап Спиридоныч больше не появлялись); вновь слугам до утра приходилось сметать белую пыль с зеленых столов; вновь вечерами звенел хмельной хохоток Анны Яковлевны... А днем она взяла привычку, едва проснувшись, расхаживать по второму этажу – от своих покоев до Елизаветиной спальни, рядом с которой устроили теперь детскую. В заношенном черном капоте, расшитом белыми птицами, неубранная, ненакрашенная, сосредоточенно поджав губы и громко шлепая туфлями без задников, – вид у нее был такой, словно она обдумывала какое-то важное, может быть, даже жизненно важное решение, которого никто, кроме нее, принять не может. И Елизавета не сомневалась, что она замышляет какую-то каверзу.

Предчувствие ее не обмануло. Валерьян, очевидно подстрекаемый Аннетою, объявил, что желал бы дать дочери кормилицу, и в детской появилась крепкая, здоровая, породистая молодка Авдотья. У нее только что родилась двойня, да была отлучена от груди, коя понадобилась барскому дитяти. Елизавета, сама мечтавшая кормить Машеньку, встретила Авдотью в штыки; однако в глубине души не могла не пожалеть эту несчастную бабу, столь глупую и забитую, что она даже не больно-то горевала от разлуки с детьми. Впрочем, Авдотья чуть ли не на второй день бросилась в ноги барину, умоляя воротить ее домой. Но не оттого, что вдруг пробудились материнские чувства, а потому, что до дрожи боялась Татьяны! В ответ Аннета взяла на себя труд отхлестать кормилицу по щекам, и та более не противилась, исправно выполняя свои обязанности.

А надобность в них возникла-таки: Машенька с материнского молока никак не поправлялась, была бледненькая, вялая, маялась животиком. Однако здоровое молоко кормилицы

быстро исцелило Машеньку: она перестала все время плакать, побелела, порозовела, тельце сделалось упругим, с губ не сходила бессмысленная, но блаженная улыбка.

Елизавете это было как нож по сердцу. Она всей душой потянулась к дочке, мечтая найти в ней единственную утеху жизни своей; выходило, что и эту капелюку счастья у нее отнимали. Вдобавок ставшие карими глаза Машеньки порою охлаждали материнские чувства. Елизавета хотела видеть на родном лице свои, светлые глаза, видеть в дочери свое отражение и продолжение. Этот темный взор пробуждал в ней странную ревность и иногда казался таким чужим!.. Елизавета часто плакала украдкой, ибо ей вновь привелось изведать, что ожидание счастья всегда лучше, слаще, блаженнее его воплощения. Опять судьба усмехнулась, обратив то, к чему она так долго и страстно стремилась, не праздником и сверканием, а как бы изнанкою, на которой оказалось слишком много узелков и швов, чтобы ею можно было любоваться. «То, что мне легко достается, для меня не имеет никакой ценности; то, за что я дорого плачу, как выясняется, вообще ничего не стоит!» – думала она с тоской и обидой..

Этих мыслей, наверное, следовало стыдиться, но избавиться от них не удавалось. Казалось, непреходящая душевная тяжесть усугубляет и физическую слабость Елизаветы, которая никак не могла прийти в себя после родов, словно бы некая хворь ломала ее непрестанно.

Боли в желудке порою были непереносимы. После приступов она долго лежала, обливаясь холодным потом. Есть вовсе ничего не могла, пила только молоко, словно сама уподобилась младенцу.

Татьяна была при ней и девочке неотступно, поэтому молоко приносила горничная Улька, которая с каждым днем все с большим беспокойством поглядывала на истончившееся лицо графини. Елизар Ильич настаивал привезти из Нижнего немецкого доктора, но Елизавете не верилось, будто существует хворь, которую не смогла бы исцелить Татьяна. Однако глаза цыганки все чаще выражали не привычное уверенное спокойствие, а растерянность и недоумение, особенно когда она трогала сухие, ледяные пальцы Елизаветы, вглядывалась в запавшие, окруженные чернотой глаза, вслушивалась в вялую речь.

Впервые в жизни Елизавете изменило ее всегдашнее упрямство. То самое, которое заставило когда-то уцепиться за якорный канат расшивы, или набрести в солончаках на заброшенный колодец, или поймать спасительную волну у побережья Скироса... Теперь вся ее недолгая жизнь медленно проходила в памяти чередой картин. Точно такой же была когда-то Августа, убиваемая таинственным, зловещим излучением крестика, подаренного ей Чекиною; точно так же угасала отравленная с помощью ариа tofana Хлоя... Теперь настал и ее черед.

Мысль о неотвратимой смерти стала первым камушком, о который Елизавета споткнулась в своем покорном продвижении к вечности.

Для нее слово «смерть» всегда было связано со словом «вдруг». *Вдруг* опрокинулась лодка среди Волги. *Вдруг* выскользнула змея из-под ноги Леонтия. *Вдруг* голодный, жадный пламень полетел по подземному коридору, где бежали они с Казановой, графом де Сейгалем. *Вдруг* навис над ней рассвирепевший медведь... И не хотелось верить, что в медленном умирании, которое свершается как бы само собою, отсутствует это необходимое – и спасительное! – вдруг. То есть причина, которую можно устранить, а значит – выжить.

Ей ни с кем, даже с Татьяною, даже с Елизаром Ильичом не захотелось поделиться догадкою, вдруг затлевшей в душе. Собственно, даже не догадкою, а так... последним трепетом былой гордыни, которая, оказывается, одна могла спасти ее жизнь, ибо заставила вспомнить, что Елизавета кому-то мешает. И в ней, вспылчивой, как порох, но не злопамятной и совсем не мстительной, чуть ли не впервые вызревало благотворное, целительное желание во что бы то ни стало выжить – и дознаться, и отомстить своим врагам.

Итак. Кто желал ей гибели? Орден, кажется, утратил ее след, вдобавок трое засланных им убийц погибли в Санкт-Петербурге... У Елизаветы не хватило воображения представить, чтобы

эта могущественная секта тратила столько сил на преследование дерзкой девчонки, которая всего-то и осмелилась, что оскорбила их магистра (со свойственным ей пренебрежением к мелочам Елизавета начисто позабыла, что этого магистра она не просто оскорбила, но и застрелила; а в пожаре, устроенном ее спасителем де Сейгалем, погибло множество приверженцев Ордена). Она почти не сомневалась, что виновны другие, но кто, кто?

Хуже всего, что их невозможно было поймать на месте преступления. Даже искренне расположенный к Елизавете Потап Спиридоныч не сомневался в истинных причинах болезни: эка невидаль, женщина не может оправиться после родов! На это, конечно, и рассчитывали злоумышленники. Даже проникательная Татьяна голову сломала в поисках причин хвори. Сперва думала, что все дело в молоке, которое одно только и пила Елизавета. Она слыхала от своей матери, что красавица Ружа, первая жена Тодора, отца Неонилы, когда-то сжила со свету свою соперницу (и родильная горячка была тут ни при чем!), каждый день ненадолго опуская в бадейку с водой, из которой та пила, дохлую змею. А вода ли, молоко ли – невелика разница! Но все же дело было в чем-то другом! Ведь Татьяна, пившая то же молоко, чувствовала себя прекрасно.

Она снова и снова присматривалась к обитателям дома. Как ни раздражали ее своей тупостью и забитостью почти все слуги (да и управляющий тоже, если на то пошло: мужчина должен быть половиком, который радуется, когда женщина вытирает об него ноги!), Татьяна не замечала вокруг них темных, мрачных теней, означающих злодеяние или хотя бы злоумышление. Эти люди были бесполезны и... безвредны.

Граф и его любовница оба были черны. Татьяна насквозь их видела. Их чернота была опасна кому угодно, кроме нее, а значит, и Елизавету она была в силах уберечь от их тайного лютовства.

Татьяна перевернула вверх дном комнату Елизаветы, переворошила все ее платья, сама не зная толком, чего ищет. Какой-нибудь вещи, которая подтвердила бы ее уверенность в том, что на Елизавету напущена порча. Но как? Кто мог это сделать?! Не было в округе ни одной знахарки, ворожейки, колдуньи, которой оказалось бы под силу вынуть след, или надеть хомуты, или навести иную порчу на человека, которого оберегала Черная Татьяна. И все-таки она впервые столкнулась с тайными чарами, превосходящими ее силу, и порой ее охватывал истинный ужас: а вдруг она не одолеет эту враждебную, пронзительную мощь?! Она сняла с Елизаветиной гребенки волосок и водила им в чашке с водой, потом украдкой дала ей эту воду испить. Ничего не произошло. И от этой воды Елизавете не полегчало.

Татьяна очень любила Елизавету, но она любила и себя, и свое ведовство, гордилась им. Теперь самолюбие ее было уязвлено... Минуло еще несколько пагубных дней, прежде чем Татьяна скрепя сердце призналась, что бессильна исцелить графиню, а потому надо идти за помощью.

Ах, если бы она могла взять с собой хоть кого-нибудь! Лучше бы Вайду, который был смел, как бес, никого и ничего не боялся. Конечно, таков же был и его молодой русский дружок, Соловей-разбойник. Даже еще отважнее. Но Вайда по крови своей цыганской стоял ближе к тайному, темному миру, чем русский. Каковы бы они ни были, Татьяне предстояло сделать все в одиночку.

Решившись наконец, едва дождалась ночи: так хотелось покончить со всем поскорее. Прежде чем уйти, сняла крест и постояла над дремлющей Елизаветою, с тоскою думая, увидит ли она вновь свою девоньку? Если нет, то кто же откроет ей тайну ее рождения, кто залечит боль, причиненную этой тайною?..

Но время шло, медлить больше было нельзя, и Татьяна, накинув большой черный платок и козушок, выскользнула во тьму.

«Только бы снег не пошел, – думала она всю дорогу до деревенского кладбища, – только бы не запылило!» По счастью, ноябрь начался ветрами, поэтому Татьяна без труда отыскала могилу, где всего лишь месяц назад похоронили добродушного и веселого парня из дворовых, Костю Хорошилова, который вдруг ни с того ни с сего слег в жару, иссох весь и сгорел за какие-то две недели от неведомой хвори, очень напоминавшей болезнь Елизаветы. По деревне разползлись слухи о порче, наведенной на сильного, здоровущего парня. Поскольку Костя очень часто (и незадолго до своей смерти тоже) ездил в Нижний с поручениями графской кухни, то, судачила деревня, в Нижнем его и испортили. У Татьяны были смутные подозрения, что зараза, напущенная на Елизавету, исходит оттуда же, хотя трудно было увязать давнюю, еще майскую, поездку в город Анны Яковлевны и теперешнюю болезнь графини. «Но так или иначе, – подумала Татьяна, – сейчас я все узнаю доподлинно».

Ей ничуть не было страшно на кладбище! Она боялась только неведомого, а ведь мертвые – те же люди, только существующие в ином мире. Поэтому она безбоязненно улеглась на Костиной могиле, закрыла глаза и принялась терпеливо ждать ответа на свой вопрос.

* * *

Елизавета в эту ночь пребывала в некоем странном состоянии между дремотой и бодрствованием, что не мешало ей видеть сон.

Ей снилась женщина в черном платке и кожанке, которая вышла с деревенского кладбища и побрела по голому, исхлестанному ноябрьским ветром лесу, внимательно вглядываясь в поваленные деревья, словно искала что-то. При этом Елизавете снилось, будто бы эта же самая женщина, словно раздвоившись, лежит на одной из могил, сложив руки на груди, словно покойница. Она была очень похожа на Татьяну, но Елизавета даже и во сне помнила, что Татьяна каждую ночь проводит возле ее постели, и потому без страха смотрела свой сон.

Женщина в черном все ходила по лесу, пока не набрела на поваленную осину и радостно всплеснула в ладоши: это оказалось именно то, что она искала. Постояла над осиною, словно набираясь сил, и вдруг перекинулась через нее слева направо! В то же мгновение женщина исчезла. Вместо нее возле осины оказалась поджарая черная собака с острыми, настороженными ушами и пушистым хвостом, которая, несколько раз оглянувшись и попробовав голос, сперва неуверенно, потом все смелее побежала в Любавино, к графскому поместью. Здесь она и залегла в кустах возле маленьких боковых ворот, вытянув лапы и устроив на них красивую, умную морду, внимательно глядя на дорогу, словно ждала кого-то.

Елизавете так хотелось ее приласкать, погладить по гладкой шерсти, что у нее даже ладони загорелись. Но ведь это был всего лишь сон! И, поскольку во сне время обладает волшебным свойством замедляться или ускоряться, она ничуть не удивилась, когда увидела, что по дороге из Нижнего мчится какое-то существо, приближаясь с невероятной, сказочной скоростью, словно бы оно не бежало, а летело, не касаясь земли.

К изумлению Елизаветы, это оказалась большая черная свинья.

По тому, как напряглась собака, какая дрожь пробежала по ее туловищу, стало понятно, что свинью-то она и караулила; однако не тронулась с места, притаившись, лежала и глядела, как свинья, похрюкивая и мелко сотрясаясь своим жирным черным телом, подбежала к столбу, на котором держалась левая створка ворот, и начала быстро-быстро рыть носом мокрую землю.

Собака бесшумно приподнялась, вытянулась вся, напряженно наблюдая за свиньей... Шерсть на ее загривке вздыбилась, и Елизавета увидела, как там, где роет свинья, что-то выбивается из земли с такой силой, что сама земля и столб ворот мелко трясутся, будто в припадочной пляске. И чем быстрее рыла свинья, тем холоднее становилось Елизавете; сердце вдруг зануло так, словно на него налегла чья-то ледяная рука. И всем существом своим, перед кото-

рым уже как бы разверзлась могильная тьма, она взмолилась о помощи... Она знала, что если свинью сейчас не отогнать, то уже не снять эту тяжесть с сердца!

Чудилось – собака услышала ее немой крик. Подобно черной молнии, метнулась она к воротам и хватанула свинью за толстую ляжку. Та огласила округу пронзительным визгом и отскочила от столба, который тотчас перестал плясать, словно испугался.

Свинья обернулась и обнажила клыки, которые больше подошли бы секачу³, чем домашней хрюшке. О, это была уже не та жирная хавронья, которая только что ковырялась в земле! На ее рыле явственно проступило озлобленное человеческое выражение; крошечные глазки обросли длинными ресницами, широко раскрылись; в них сверкнул такой адский пламень, что собака невольно попятилась; тут же, словно устыдившись, бросилась вперед и так ловко обогнула разъяренную свинью, что та и пикнуть не успела, как собака уже вскочила ей на спину и вцепилась зубами в загривок. Елизавета не поверила себе, увидев, как передние лапы собаки вытянулись и сделались похожи на сильные женские руки. Они вцепились в свинью столь крепко, что, как она ни билась, как ни кидалась и дыбилась, а скинуть собаку все же не могла. Почему-то Елизавета вспомнила свой рассказ Татьяне о волке, который вот так же вцепился в спину кочкара на черном пастбище Хара Базар. Баран не смог его скинуть, пал с перерезанным горлом...

Не скоро удалось свинье освободиться, но из ее загривка тяжелой, черной струей хлестала кровь. Потому она, забыв обо всем на свете, кроме своей боли, кинулась прочь, откуда прибежала; собака, тяжело дыша, принялась набрасывать землю на столб, пытаясь как можно скорее засыпать то, что не удержишь рвалось на волю.

Потом, сев на задние лапы, она долго переводила дух, прежде чем нашла в себе силы подняться и затрусить к лесу, то и дело оглядываясь, словно опасаясь, что черная свинья появится вновь. Но той давно уже и след простыл, поэтому собака наконец-то кинулась во всю прыть к той самой поляне, где лежала сломанная осина. Она перекинулась через бревно справа налево. И вскоре женщина в черном платке и колушке легко, будто призрак, заскользила по дороге, ведущей к кладбищу.

Елизавета открыла глаза. Луна светила в окно. Да такая ясная, такая чистая! А ведь только что в той ночи, которую она видала во сне, небо было безлунным...

Елизавета привстала, огляделась. Татьянин сенник, кинутый на пол, пуст.

Задыхаясь от слабости, прокралась в детскую. Авдотья сладко сопела на своей постели; в люльке тихонько спала Машенька, чуть нахмутив ровненькие черные бровки.

Татьяны не было и здесь.

Елизавета торопливо перекрестила дочку, кое-как воротилась к себе и вновь улеглась, глядя на голубые лунные столбы, падающие из окон, и пытаясь понять, что вокруг – явь, что – сон. Новый приступ слабости сморил ее, и она вновь погрузилась в ту же зыбкую дремоту, в которой пребывала прежде. И вновь отыскала Татьяну, которая спешила с кладбища к тем самым воротам, где только что сражались черная собака и черная свинья.

Ночь и во сне была светла, осиянная луной; и студеная Волга сверкала черным серебром, будто некое волшебное зеркало, в которое гляделись небеса. Наверное, Татьяне лунного света было недостаточно, потому что она прокралась в дом и вскоре вышла оттуда с железным совком, полным горящих угольев.

Пошарив во дворе, она набрала каких-то щепок, веток, мусору; и скоро у ворот пылал костерок. Татьяна совком, помогая себе руками, принялась копать в том же самом месте, где прежде рылась черная свинья.

³ Дикий кабан.

И вновь затрясся столб, вновь задрожала земля, и вновь почудилось Елизавете, что некая ледяная тяжесть придавила ей сердце.

О, какая боль пронзила ее! И мучительнее всего было знать, что Татьяна, именно Татьяна вот-вот оборвет ниточку ее жизни!

Но тем не менее она отчетливо видела все, что происходило у ворот. Она видела, как из ямы, вырытой Татьяной, вдруг что-то выскочило, да так проворно, что цыганка еле успела это поймать... И на тот миг, пока она держала свою находку, сердце Елизаветы остановилось.

Она схватилась за грудь, задыхаясь, и помутившимся взором увидела, что Татьяна с отращением швырнула в костер... тряпичную куклу.

Да-да, куклу! Таковую, какими играют все девочки; какими играли Лисонька и Лизонька; какую Елизавета обязательно сшила бы для Машеньки. Это была самая обыкновенная кукла, только она все время трепыхалась, дергалась, будто в пляске, будто была живая. Она продолжала плясать даже в огне, дергая тряпичными руками и ногами; и только сейчас Елизавета поняла, что на куклу надето платье из синего шелкового лоскута – точь-в-точь ее платье, которое изорвалось во время достопамятной скачки на медведе. На голове у куклы были накручены длинные косы из пеньки. Не той ли самой, которую когда-то «остригла» Анна Яковлевна, уверенная, что стрижет свою соперницу?.. Эта кукла, без сомнения, изображала Елизавету. И все время, пока она трепыхалась в костре, трепыхалось сердце Елизаветы, пока кукла вдруг не вспыхнула черным, жирным пламенем и не исчезла без следа.

Елизавета проснулась от своего резкого, короткого крика и привскочила в постели, прижав руки ко рту и в ужасе озираясь.

За окном чуть брезжило серое ноябрьское утро.

Увидев Татьяну, спящую на своем сеннике, Елизавета зажмурилась, не веря глазам, а когда открыла их вновь, цыганка по-прежнему спала.

Елизавета встала, подняла с полу Татьянин кожушок, он был сырой, холодный, и, закутавшись в него, выбралась за дверь.

Ее пошатывало от слабости, но сердце билось ровно, спокойно, в глазах не крутились огненные колеса, как бывало раньше.

Когда Елизавета сошла по лестнице, босые ноги ее заледенели; она напялила чьи-то валенки, стоявшие под лестницей, потом осторожно – не дай бог, не скрипнуть бы! – сняла засов с боковой двери и стала на крыльце под серым небом раннего утра.

Сыро было, зябко. Елизавета покрепче запахнула кожушок, подняла воротник, уткнулась в кудлатый мех. От него несло псиной, и она отстранилась, сморщив нос. Осмотрелась, позевывая, и вздохнула глубоко-глубоко, словно глотнула колодезной воды.

– Тини, тини! Тинь!

Синичка! Ноябрь, зима скоро. Но ведь поет же, голосок подает:

– Тини, тини! Тинь!

Елизавета посмотрела на изрытую, истоптанную землю у ворот, на покосившийся столб, на черные уголья, над которыми еще курился дымок... Подняла глаза к серому, низко нависшему небу, перевела взор на сизую волжскую волну.

– Тини, тини! Тинь!

И вдруг она вздрогнула, сжала руки у горла и зашла в рыданиях, словно голосок синички достучался сквозь стынь и ледяную кору до замерзшего, стиснутого болью сердца и освободил его, растопил лед. Вот он и пролился слезами и растаял. Хоть близилась не весна, а новая зима...

2. Дом на Варварке

Дождь грянул как проклятие небес. Караульные уже через несколько мгновений оказались по колено в жидкой грязи, а тех, кого они искали, и след давно простыл! Наводчик уверял, что ночные грабители с узлами, полными серебряной утвари и меховой рухляди, выбрались из дома купца Пищенко через окно на задний двор, оттуда через забор на Сергиевскую, потом через овраги прошли на Покровку и будут пробираться на Варварку. Здесь их ждала засада. Именно сюда всегда приходила шайка с награбленным, чтобы исчезнуть без следа.

Осечки быть не могло. Однако всего-то и дождались караульщики, что в дымину пьяной троицы с пустыми руками и карманами. Мужики топтались посреди огромной лужи как раз при повороте на Варварку, с явным намерением искупаться в грязи. Они вовсе лыка не вязали, так что даже на гауптвахте ничего не добились, кроме бессвязного рассказа о том, что они пришли в Починок продавать дуги, да все заработанное и спустили нынче в кабаке. История привычная, так что мужикам отмерили по паре тычков и отпустили с богом. То есть промахнулась нижегородская сыскная канцелярия и нынче. Гришка-атаман опять вокруг пальца обвел!.. Как, впрочем, и всегда.

Когда вдруг караульный офицер велел заново проследить весь путь грабителей: а вдруг они где-то затаились и выжидают, ливень ударил в полную мощь. И пока двое борзых псов вновь прошли в темноте от Сергиевской до Варварки, оба вымокли до нитки и мечтали только, как бы скорее добраться до сухих стен. Однако возле той же лужи на повороте невольно приостановились, привлеченные забавным зрелищем. Как раз посреди грязищи торчала накренившаяся карета, две лошадки рвали жилы, силясь ее вытянуть, трое лакеев корячились в грязи: кто подводя вагу под колесо, кто приподнимая возок, а на облучке ярилась, хлеща кнутом не столько лошадей, сколько слуг, красивая, мокрая и злая барыня, благим матом крича на свою косорукую да нерадивую дворню.

Караульщики, со свойственной русскому человеку привычкою непременно впутаться в чужую заботу, вознамерились было помочь и вытолкнуть-таки возок на твердую землю, но кнут в руках рассвирепевшей барыньки не разобрал ни правого, ни виноватого, а потому солдаты отправились восвояси, забыв о тех, кого преследовали, и думая лишь о том, долго ли еще маяться посреди лужи сердитой бабенке и ее неуклюжей челяди.

Караульные слишком устали и вымокли. Но если бы кто-то из них набрался сил и воротился на то же место минут через пять, он бы глазам своим не поверил, увидав, что перекошенная карета вмиг выправилась; утомленные лошадки взыграли; слуги проворно накидали в повозку какие-то мокрые узлы, выуживая их из лужи. Потом двое вскочили на запятки, один – на облучок, отобрав вожжи у барыни, которая перебралась внутрь кареты, на узлы; и лошади, с места взяв во всю прыть, вылетели на Варварку, где вскоре и остановились возле красивого, утопавшего в саду одноэтажного дома, принадлежавшего графам Строиловым.

Лакеи, стоявшие на запятках, занесли узлы в подвал, потом, о чем-то перемолвившись с кучером, канули в ночь. Кучер помог барыне выйти, стукнул в дверь. Отворил слуга, который, охая и крестя беспрерывно зевающий рот, повел упряжку на задний двор; барыня с кучером вошли в дом.

В приемной комнате на софе притулилась горничная девушка, ждавшая госпожу, но смиренная сном. Барыня, не замедляя шагов, бросила рядом с нею мокрый салоп, скинула хлюпающие башмаки и устремилась дальше босая, на ходу расстегивая и развязывая платье и словно бы не замечая кучера, который молча следовал за нею.

Пока миновали все семь комнат, на полу остались лежать платье, косынка, две нижние юбки и чулки, а барыня в одной рубашонке, которая тоже отсырела и липла к телу, отворила дверь в спальню.

Здесь кучер зажег четырехсвечник, задернул тяжелые занавеси на окне и принялся разводиться огонь в синей, муравленой, узорчатой печке. Он содрал мокрую пестрядинную рубаху-голошейку, комком кинул ее в угол и остался в одних портках и босиком.

Барыня раскрыла постель, взбила подушки, нимало не стыдясь, сняла рубашку и забралась на высокую кровать. Она долго перекатывалась с боку на бок, возилась, устраиваясь поудобнее, наконец затихла.

Тем временем огонь в печурке разгорелся; кучер закрыл дверцу, оглянулся.

Барыни даже видно не было под пышным пуховым одеялом. Он осторожно потянул за краешек и вдруг сорвал его одним движением, открыв молодую женщину, свернувшуюся клубочком, подтянув к подбородку розовые, озябшие колени, и закрывшую глаза.

Она делала вид, что спит. Ресницы подрагивали, на шее тревожно билась голубоватая жилка.

Он долго смотрел на нее, потом осторожно провел пальцем по узкой босой ступне, и молодая женщина, фыркнув от щекотки, распрямилась так стремительно, что он невольно отшатнулся.

– У тебя волосы мокрые, – сказал он, подняв с подушки одну из ее длинных темно-русых кос, и провел пушистым кончиком по своей щеке, чуть прижмурив глаза от удовольствия, не отрываясь от созерцания обнаженного тела.

– У тебя тоже. – Она взглянула на его светлую кудрявую голову, потом медленно повела взором по загорелой широкой груди к впадине живота и ниже, к бедрам, облепленным мокрыми портками. – У тебя тоже...

Под этим бесстыдным взглядом он нервно сглотнул, усмехнулся и коснулся кончиком косы ее груди и живота, как бы повторяя движение ее взора по своему телу.

Молодая женщина сморщила носик, колыхнулась всем телом так, что кучер не выдержал и, накрыв ее грудь ладонями, припал губами к горячей впадинке у горла.

Когда выпрямился, увидел, что ее взгляд затуманился.

– Погаси свет, – велела она, нахмурясь.

Он покачал головой, не отводя от нее глаз. Они были жарче прикосновения, так что она вдруг согнула ноги в коленях и разбросала руки, а грудь вздымалась все выше, все чаще.

– Иди сюда! – властно сказала она. – Иди ко мне. Ну!

Он круто вскинул светлую длинную бровь.

– Я тебе не слуга, барынька моя! Слышь-ка? Ты меня попроси. Хорошенько попроси. Тогда, может быть...

– Может быть? – Ноздри ее гневно вздрогнули. – Ах, может быть?!

И вдруг так проворно дернула за вздежку его портков, что те свалились, открыв ее взору всю его мощь, силу и слабость перед нею.

Она прямо смотрела в его зеленоватые глаза, ноготок ее указательного пальца неспешно обводил все линии его худого, мускулистого живота, сползая все ниже и ниже.

Он коротко вздохнул, потянувшись поймать эти пальцы, которые причиняли ему не то наслаждение, не то муку, но тут ее дерзкая рука достигла своей цели.

Глаза их не отрывались друг от друга, но ее пальцы действовали все бесстыднее, все настойчивее. Он качнулся взад-вперед, невольно вторя ее движениям, ускоряя их, поддаваясь наслаждению. Она следила за его каменно-неподвижным лицом... Тело оказалось податливее! Она крепко сжимала его плоть... Но держит ли она в руках его душу? И вот он сдался, медленно зажмурился, стиснув зубы и едва сдерживая стон. Она улыбнулась, приоткрывая пересохшие губы:

– Люби меня!

Это звучало как приказ. Короткий, хлесткий. Его нельзя, невозможно было послушаться!

Он вмиг скинул остатки одежды и рухнул на постель так стремительно, что взвившийся ветерок погасил свечи, и он не успел увидеть, как по ее губам пробежала улыбка, в которой было что-то мстительное...

* * *

Вскоре после той странной ночи, когда Елизавета наконец-то выздоровела, началась настоящая зима. Потому, когда граф Строилов отправился на именины к своему соседу Шубину в Работки, он велел елико возможно утеплить зимний возок (тот самый, на запятках которого Елизавета когда-то впервые прибыла в Любавино). Хотя на праздник были званы все окрестные помещики со чады и домочадцы, Валерьяну и в голову не вошло взять с собой жену; компанию ему составила в пух и прах разряженная Анна Яковлевна, в мехах и новом парике, который ей только на днях тайком привезли из Нижнего.

Возок был весь устлан мехами. Граф с кузиною в лисьих шубах под лисьими одеялами возлежали на перинах и попивали жженку (тут же, в карете, была установлена малая печурка), то подремывая, то развлекаясь привычным образом, то забавляясь с легавой собакой, которую везли в подарок Шубину. Чтобы эта молодая охотничья сука не боялась выстрелов, Валерьян палил из пистолета, нимало не обращая внимания на неудовольствие Анны Яковлевны: минуло то время, когда ее прихоти и капризы имели для него какое-то значение!

День приклонялся к сумеркам. Истратив весь припас пороху и заскучав, Валерьян вознамерился было вздремнуть: ехать предстояло еще час, а там, в Работках, уже не отдохнешь – в ночь предстояло самое торжество! – как вдруг снаружи донеслись выстрелы и отчаянные крики лакеев.

Кибитка резко стала.

– Что там еще?! – взревел Строилов, прорываясь сквозь перины к обмерзшему окошечку в боковой занавеси и пытаясь очистить его ладонью. Но не смог ничего разглядеть, потому, раздернув боковину, высунулся наружу. И тотчас получил сильнейший удар по голове, от коего все завертелось перед его глазами...

Соображение вернулось к нему не прежде, чем граф ощутил сильнейшую морозную хватку и, открыв глаза, обнаружил себя стоящим прямо на снегу босым и едва одетым. Руки его были связаны, на шею накинута петля, конец которой держал чернобородый, одноглазый, похожий на цыгана мужик вида столь угрожающего, что ругательства и проклятия замерли на устах.

Из повозки вывалилась Аннета. Следом выскочил молодой красавец, зеленые глаза которого блеснули насмешкою при взгляде на «лютую барыню». Та рухнула к его ногам, умоляя умилосердиться, пощадить ее женскую честь и отпустить с миром.

На румяное лицо светлокудрого разбойника взлетела белозубая ухмылка:

– Это ты помилуй меня, барынька! Отпущу, отпущу тебя, даже если просить-молить станешь, чтоб крепче держал. На что мне такое сухое да жесткое мясо? Я девок пышных люблю, чтоб на головах у них не дохлые волосья, а русые косоньки кудрявились! – И он прошел мимо, больше не взглянув на Анну Яковлевну.

Тут из толпы налетчиков выступил не кто иной, как Данила-парикмахер, при виде коего Аннета издала дикий вопль ужаса. Но он ей ничего не сделал, а только походя смахнул с головы соболий капор вместе с париком. Валерьян счел, что у него начинается предсмертный бред, когда увидел, что старательно прятала от него любовница все эти годы.

Аннета упала ничком, задергалась в яростных рыданиях, тшась хоть в сугроб закопать плешивую головенку. Двое разбойников схватили ее за руки, за ноги и, раскачав, зашвырнули в сани, к задку которых привязали графа.

Сани полетели по лесной дороге. Валерьян принужден был бежать следом, пока не упал и не отдался на волю божию. Возблагодарил было судьбу, когда лошади стали; угадав же, что ему уготовано теперь, взмолился о пощаде. Да его никто слушать не желал. Разбойники, в числе коих был и Данила, и тот, схожий с цыганом, подхватили его под микитки и, подтащив к недавно ставшей Волге, с криками:

– Крещается царь Ирод! Крещается Сатана! – кинули на тонкий лед, который вмиг проломился. Граф ухнул в купель столь студеную, что умер еще прежде, чем разбойники, желавшие продлить пытку, вытянули его на поверхность.

Своей смертью граф лишил их удовольствия покуражиться, потому они торопливо бросили его в самые дряхлые сани, запряженные хилой, старой лошаденкою. К облучку привязали кучера Лавра, наказав гнать всюю и не останавливаться ни по чем, ежели хочет быть жив; двух лакеев, крепко выдрав, пустили восвояси. К мертвому графу в бесстыдной позе накрепко прикрутили его донага раздетую любовницу. Затем одноглазый сунул коняге под хвост зажженный прут, отчего она, взревев, взбрыкнула и во всю прыть ринулась по дороге обратно в Любавино. И скакала так до самой деревни, пока не пала прямо в оглоблях.

Стояла глубокая ночь, когда мертвого графа Строилова и чуть живых Лавра и Анну Яковлевну принесли в барский дом крестьяне, разбуженные дикими криками «лютой барыни». Ее не сразу признали. Однако поверили старому Лавру и доставили плешивую госпожу куда велено, сдав с рук на руки ничего со сна не соображавшей дворне.

Подхватились Елизавета с Татьяною, прибежали, захопотади, приказав жарко топить баню, греть воду, тащить топленого медвежьего жиру, водки... Но все это помогло одному только Лавру. Сама Анна Яковлевна, не промучившись и получаса, скончалась, найдя в себе силы напоследок пробормотать почернелыми губами:

– Все сжечь, все платья мои и наряды, чтобы эта не могла их носить!

Она метнула еще один, уже угасающий, ненавидящий взгляд на Елизавету. И умолкла навеки.

* * *

Об этом случае ходили долгие разговоры. Из Нижнего послан был следователь, с пристрастием допросивший всех крестьян, дворовых, графиню, соседей и даже Потапа Спиридонича Шумилова. На подозрении были прежде всего родственники бывшего старосты, утопшего в болоте, куда его с сыновьями загнал разыгравшийся Строилов, а также крепостной Федор Климов, тоже точивший зуб на графа. Правду сказать, мало кто его не точил, но история Климова была в своем роде особенная.

Еще минувшей весной, пуская по приказу его сиятельства палы на вырубках, чтобы приготовить их к раскорчевке и пахоте, Климов не уследил за огнем, который перекинулся на шубинские земли и свел дотла немаленькую березовую рощу.

По закону помещик должен был отвечать за убытки, причиненные его крестьянином, и графу Строилову пришлось заплатить несколько тысяч штрафа. Он без звука выложил деньги, опасаясь ссоры с человеком, коего до сих пор ласкал двор, хотя его покровительницы давно не было в живых. Но Федора Климова приказал сечь до смерти.

В ночь перед экзекуцией Климов умудрился бежать из холодной, куда был заточен; погоня, напрасно побив ноги, воротилась ни с чем. Тогда граф вызвал к себе Федорову невесту

Марьяшку, на кою падало подозрение в пособничестве побегу, и повелел ей немедленно отправляться в Москву, зарабатывать деньги на покрытие убытков, причиненных ее женихом.

Наивная дуреха спросила – каким ремеслом, разумея шитьем, вышиванием или поденщиной, на что был ответ: «Постельщиной!» – и граф тут же открыл ей основы будущего ремесла с такой настойчивостью, что бедную девку унесли от него замертво, всю в крови, и бросили на дворе приходить в себя. Наутро ее не нашли на месте.

Граф взбесился, решив, что новая жертва его похоти тоже отправилась в бега. Но через три дня тело Марьяшки волнами прибило к берегу верстою ниже Любавина; и всем стало ясно, что несчастная утопилась, не снеся позора.

О Федоре же Климове с той поры никто и слыхом не слыхал. Поговаривали, что он прикнул к шайке Гришки-атамана, пришедшего в сии места откуда-то из-под Василя, где промышлял речным разбоем, а теперь и не брезговал брать и подорожную⁴.

Так ничего не выведав о Климове, следователь направил свои подозрения на вдову Строилова, ибо о чудачествах покойного графа и издевательствах над женою судачила вся округа; и неизвестно, чем дело бы кончилось, когда б точнехонько под Рождество не пришло из столицы именное повеление всякое следствие об убийстве Строилова прекратить, графиню Елизавету и всех окрестных помещиков оставить в покое, ибо... Дальнейшее излагалось весьма дипломатично, но в том смысле, что собаке собачья и смерть.

Очевидно, государыня до сих пор не простила графа Валериана за его неосторожную ухмылку!

Следователь с реверансами отбыл восвояси. Мало кто знал, что подозрения его имели-таки под собою почву: графиня Елизавета была истинно замешана в смерти своего супруга. Правда, не ведая об этом сама.

* * *

Вечером, после похорон и поминок, Елизавета едва добралась до постели, как вдруг вошла Татьяна и объявила, что нянька Авдотья плачет и отказывается ночевать одна: «Боится мертвяков», – а потому ей, Татьяне, придется нынче спать в детской.

Елизавета так устала и телесно, и духовно, что лишь пролепетала: «Хо-ро-шо-о...» – и уснула, даже не договорив.

Чудилось: она проспала какую-нибудь минуточку. Открыв глаза, услышала, что часы внизу, в гостиной, бьют три раза.

Сна не было ни в одном глазу.

Елизавета лежала, глядя в потолок, на котором медленно менялись бледно-голубые загадочные тени от щедро выпавшего снега, и слушая, как потрескивают в коридоре половицы.

Наконец-то сбылось пророчество Татьяны. Она стала свободна. Но все произошло так внезапно, так вдруг!.. Еще утром Елизавета была нелюбимой, постылой женою, зависимой от всякой прихоти своего озлобленного повелителя, а к полуночи стала вдовой – графиней Строиловой – единовластной владелицей богатого поместья, пятисот душ крепостных, кирпичного заводика, приносящего устойчивую прибыль, двух грузовых расшив, стоявших в нижегородском затоне, и городского дома на Варварской улице: в восемь комнат, с конюшней, большим двором и садом, – а главное, единовластной владычицей своей судьбы.

Сердце ее было спокойно. Если она еще не могла радоваться нежданно-негаданно свалившимся богатству и свободе, то и угрызаться совестью больше не было сил. Они с Валерьяном невольно оказались взаимными причинами страданий друг друга, но он сквитался с нею так щедро, что даже и капли жалости Елизавета сейчас не могла сыскать в душе своей.

⁴ То есть грабить на большой дороге.

Вдруг она насторожилась и села, вслушиваясь в шорохи за дверью, которые были уже не просто потрескиванием сухого дерева, а осторожными, крадущимися шагами.

Сперва подумала, что это Татьяна. Но она ходила вовсе неслышно даже и по самым скрипучим половицам; это была тяжелая мужская поступь.

В голове беспорядочно замелькали мысли о «мертвяках», которых боялась Авдотья, потом о «лютой барыне», коя однажды ночью вот так же бродила по дому... и в тот миг, когда дверь в опочивальню начала приотворяться, Елизавета сорвалась с постели, кинулась к окну и затаилась за тяжелой занавесью, не чуя, как пол студит ноги.

Дверь распахнулась. Высокая мужская фигура стала на пороге.

Сердце Елизаветы приостановилось на мгновение. Тут же она поняла, что это, конечно, не Валерьян и не призрак его. Сделав несколько осторожных шагов, вполне живой высокий молодец, в рубахе распояскою и необутый, поскольку шел почти бесшумно, замер над постелью. Одеядло было таким большим и пышным, что не так просто понять, лежит под ним кто-то или нет; пришелец осторожно приподнял край.

Оставалось надеяться, что ночной гость не угадает сунуться за штору и сочтет, что графиня ушла в детскую.

Надежды сии, впрочем, тотчас же рассеялись, поскольку пришелец первым делом рванул занавесь и открыл Елизавету, прильнувшую к стене в одной рубахе и босую.

Она только тихо ахнула, когда вместо того, чтобы накинуться на нее, он глянул вниз и сказал сурово:

– С ума ты, девка, сошла, бегать босиком в такой мороз! – Потом вдруг подхватил ее легко, будто перышко, и, усевшись на край кровати, посадил Елизавету себе на колени, обеими руками, большими и горячими, стиснув ее застывшие ступни.

Она была так изумлена появлением Соловья-разбойника, коего узнала по голосу, что замерла на его коленях, не в силах слова молвить.

Летели минуты, а они все сидели и сидели вот так же, молча; и сердце Елизаветы вдруг неистово заколотилось от легкого, еле уловимого табачного запаха, который коснулся ее чутких ноздрей.

Она больше доверяла не глазам своим, которые были невнимательны и забывчивы, а именно нюху. И этот запах был в ее памяти так неразрывно связан с голосом Вольного, которым почему-то говорил Соловей-разбойник, что она почувствовала обиду: да не могут же двум разным людям принадлежать одинаковый голос и запах!

Ей вдруг стало жарко и неловко сидеть на этих худых коленях, вдобавок что-то твердое утыкалось в бедро; у нее дыхание перехватило, когда поняла – что. Елизавета в ужасе рванулась прочь, ноги подогнулись, она упала. И тут же Соловей-разбойник, попытавшийся ее удержать, упал рядом.

Глаза ее уже привыкли к темноте, и вот совсем близко она увидела зеленоватое мерцание его взгляда, резкие, дерзкие черты лица, светлые – о господи! – светлые волнистые волосы...

Провела по этому лицу, ощутив вдруг сонм мелких летучих поцелуев, которыми его задрожавшие губы покрыли ее руку, и чуть слышно шепнула:

– Ты? Ты?! Но твои волосы...

И это было все, что она могла сказать. Уткнулась лицом во впадинку на крепкой теплой шее и зашлась в беззвучных рыданиях по тому проклятому и счастливому дню, когда впервые встретила его на волжском берегу; по той испуганной девочке, которой она была; по той измученной женщине, какой стала с его помощью; по нему самому, истерзанному раскаянием до того, что он вернулся к своей бывшей жертве и верно служил ей. Она знала сейчас доподлинно, что тот «зеленоглазый дьявол», о котором перед смертью говорила Аннета, был он, Вольной. Возьмет он на себя смерть Валерьяна, нет ли – неважно, Елизавета не сомневалась в верности

своей догадки. Она еще не знала, осудит его или поблагодарит за это. Сердце ее ныло от боли и любви, от долгожданной нежности, с какой касались ее мужские руки, от безнадежности всякого сопротивления тому восторгу, который охватил ее тело, ибо Вольной исправно делал то, зачем сюда пришел. На миг открыв заплывшие слезами глаза, она разглядела только его голые, блестящие в темноте плечи, услышала дыхание и вся рванулась к нему, принимая его, оплетая руками и ногами, всем исстрадавшимся существом своим.

* * *

Вся осень и начало зимы прошли для Елизаветы как в тумане. Она не ощущала даже тревоги от двусмысленных расспросов следователя; она ничего не видела и не слышала; она гнала, торопила дни, ибо едва дом утихал, как откуда ни возьмись, словно сбывшийся сон, являлся в ее опочивальню Вольной; они падали в постель и samozабвенно предавались любви.

Елизавета никогда не спрашивала, где он проводит дни, откуда появляется и куда уходит. Это все было не суть важно. Все на свете было безразлично, кроме их объятий!

Чудилось, соприкасаясь ненасытными телами, они изливают друг в друга все неспрошенное, неузнанное, прожитые в разлуке все муки и радости, обретают потерянное, излечивают сердечные раны. Они почти не говорили, но, казалось, знали один о другом все. Станным образом телесное наслаждение, которое Елизавета испытывала с Вольным, возвращало ей утраченные надежды на изменение ее жизни так, как следует быть. Она едва ли не впервые поняла, что значит для женщины мужчина, который ее любит и желает. И потому будто земля разверзлась под ногами, когда однажды Вольной сообщил, что его шайка колобродит: добычи нет, дороги пусты. Значит, надо перебираться в богатый город Нижний и разворачиваться по новому.

Елизавета не заплакала только потому, что дыхание перехватило от ужаса.

Вновь остаться одной?! И что? Как жить? Заняться хозяйством, спрашивать отчета у Елизара Ильича, присматривать за стряпухами, чтобы зря не расходовали припас? Играть с Машенькой, бесконечно беседовать с Татьяной о прошлом? Сонно глядеть в окошко? Это не по ней! Тот покой, о котором она только и мечтала, пока был жив Валерьян, представлялся могильным покоем...

Вольной сейчас олицетворял для нее солнце, рассеявшее беспросветную ночь ее тоскливого существования. Стоило только представить, что настанет время, когда он не придет, как слепой, не рассуждающий страх холодил ей кровь.

– Я поеду с тобой!

Елизавета ждала возражений, отговорок – ничего этого не было. Вольной покрыл ее лицо тысячью поцелуев.

– Только уговор: жить ты будешь в своем доме. А я буду к тебе приходить...

– Каждую ночь? – первым делом спросила она и, услышав: «Ну, конечно!» – уже спокойнее смогла выслушать дальнейшее:

– Никто не должен знать, что мы вместе. Мало ли как жизнь сложится!

– А как она сложится? – подозрительно спросила Елизавета, приподнимаясь на локте и сясь разглядеть в темноте выражение его лица, но видела только блеск глаз.

Голос Вольного был серьезен.

– Не знаю. Не знаю как! Но ты одно помни: у тебя дочка, и ты для всех должна оставаться графиней Строиловой. Ради нее, да и ради себя, если на то пошло.

– Мне нужен только ты, – сказала, до глубины души пораженная этой заботливостью и предусмотрительностью. И, как всегда, когда она была растрогана, слезы навернулись ей на глаза. – Только ты!

– А мне – только ты, – улыбнулся он в ответ.

Против ожиданий, Татьяна тоже не стала чинить никаких препятствий. Внимательно поглядела в глаза Елизаветы, чуть улыбнулась:

– Вижу, иначе не вытерпишь. Поезжай, бог с тобой! Я с Машеньки глаз не спущу. А с хозяйством Елизар без тебя еще лучше управится. Поезжай... Только не забудь, кто ты и кто твоя дочь. Ты молода, конечно, тещу свою младость. Но помни: у дочки и вовсе вся жизнь впереди!

«Что они, сговорились, что ли, с Вольным?..»

Ее положение графини и госпожи имело то преимущество, что никому ничего не требовалось объяснять. Дворне было заявлено, что барыня по делам, связанным с наследством, едет в город. Немного мучил непонимающий, обиженный взгляд Елизара Ильича, который робко надеялся, что со смертью Строилова взойдет и для него солнышко. Но Елизавета совсем не желала такой любви, которая нуждалась в жертвах с ее стороны, соблюдении приличий, объяснениях... Она уехала, едва простившись с управляющим, и отгоняла упреки совести только надеждою на счастье.

Дом на Варварке вовсе не был заброшен, как думала Елизавета. Там жили дед с бабкою: лакей да стряпуха, и их внучок – казачок, он же садовник. Так что Елизавета привезла только горничную – девку Ульку, взятую ею за глупость: авось не станет соваться не в свое дело! Она еще не знала тогда, что самые медвежьи услуги оказываются по доброте да по дурости...

В Нижнем их отношения с Вольным поначалу не менялись. Днем Елизавета занималась обустройством дома, много читала – отец Валерьяна везде, где жил, собирал богатую библиотеку, – ходила в церковь, заново открывая для себя красоту и успокоительность православных обрядов, много гуляла, избегая, однако, появляться на Егорьевой горе. По ночам приходил Вольной. Но время шло, и все чаще Елизавете выпадали одинокие ночи: Нижний был городом зажиточного купечества; шайка разошлась здесь вовсю, а воровская жизнь – по преимуществу ночная. Вольной же был истинное дитя удачи, любившее эту случайную удачу пуще всего на свете, пуще женских ласк!

Скучая, томясь, Елизавета однажды придумала, как избежать этого пугающего одиночества: быть с Вольным всегда. И днем тоже!

Не шутка была до этого додуматься. Уговорить Вольного – вот задачка! Елизавета и тут преуспела. В подвале ее дома уже не раз скрывали краденое или отсиживались от погони ярыжки; она умела направить стражников по ложному следу, сбить их с толку барственной холодностью и неприступностью. Она не сомневалась, что на любое дело сгодится! Первый же выход надолго, если не навсегда, отбил охоту к подобным предприятиям.

* * *

На Макарьевскую ярмарку шайка добралась на лодке. Сюда приехали богатые армянские купцы, чьи деньги неудержимо влекли Вольного.

Явившись за два дня до всеобщего разъезда, стали табором рядом с «армянским амбаром» – так здесь назывался большой товарный склад, теперь уже порядком опустевший: весь товар обратился в выручку. Таких таборов, расположившихся возле костерков, в Макарьеве было множество. Ярмарка славилась по всей Волге, так что они не привлекли ничьего внимания.

Едва рассвело, армянин, хозяин амбара, отправился с корзиною на базар за мясом (он был большой чревоугодник и стряпал себе сам), а Данила-мастер потащился следом... Вот с кем Елизавета встретила с особенной радостью! Она жалела Данилу, как брата, как товарища по несчастью, ведь они вместе мучились в строиловском доме. Пока ему, конечно, было не

до париков, не до причесок: вершиною его искусства оставался черный кудлатый парик Соловья-разбойника, изменивший Вольного до неузнаваемости, до того, что даже Елизавета его не признала. Общение с «лютой барыней» надолго отбило у него охоту к своему ремеслу, так что Данила казался вполне довольным своей новой участью.

Он шел за армянином до самой гауптвахты, располагавшейся не в дощатом сараюшке, а в солидном рубленом доме, и, поравнявшись с крыльцом, на коем стоял солдат с ружьем, ни с того ни с сего заблажил:

– Караул!..

Вольной хорошо знал солдатскую повадку. Как он рассчитал, так и вышло: повязали и крикуна, и случившегося рядом армянина.

Тут уж мешкать не следовало. Наученная Вольным Елизавета с убранными под зеленую суконную шапчонку волосами, одетая в мужское платье, кинулась в «армянский амбар», вопя: мол, повязали купца ни за что ни про что!

Прежде армяне, приехавшие в Макарьев вдвоем, не оставляли товар без пригляду. Теперь же, раз такое дело, товарищ арестованного купца быстро запер склад, подобрал полы и помчался на гауптвахту разрешать недоразумение.

Вольному, который только того и ждал, оставалось вломиться в амбар и спокойно взять кассу.

Елизавета была с ним. Когда эти деньги, которые ей, с ее состоянием, и даром нужны не были, оказались вдруг в руках, она ощутила прилив такого восторга, что с радостным визгом кинулась в объятия Вольного.

К тому времени, когда ограбленные армяне со стражею бросились на поиски воров, в новой, спешно построенной лавке всюду шла торговля тесемками, иголками, лентами и прочим галантерейным товаром, загодя же купленным у лоточников, а касса была закопана под прилавком.

Данила, клявшийся и божившийся, что, мол, обознался и принял армянина за одного из разбойников, прошлый год дочиста обобравших его на большой дороге, еще до того, как в солдатских головах начала плестись цепочка взаимосвязи нечаянного переполоха с дерзким ограблением, теперь отсиживался в глубине новой лавки, опасаясь на улицу нос высунуть. Поосторожничать следовало и Елизавете. Но было до того любопытно поглазеть на живой мир русской ярмарки, что ей удалось уговорить Вольного вместе пошляться меж рядов.

Однако не минуло и полчаса этого гулянья, как их заметил тот самый армянин, коему Елизавета сообщила об аресте его сотоварища, и он порешил расспросить подробнее этого сведущего парнишку. Кликнул случившийся поблизости караул; Елизавета и ахнуть не успела, как они с Вольным были окружены.

Но Вольной так просто не сдавался. Подхватив валявшийся на земле дрын, он одним махом свалил с ног сразу трех стражников, открыв Елизавете путь к спасению:

– Беги!

Она не заставила себя упрашивать и, отшвырнув толстого и рыхлого армянина, пытавшегося ее схватить, пустилась бежать со всех ног.

Кружным путем воротясь в лавку, она все рассказала соумышленникам и, кабы не Данила, вступившийся за нее, схватила бы здоровенные оплеухи от разъяренных разбойничков. Они рвались тотчас же идти штурмовать гауптвахту – выручать своего атамана. Даниле насилу удалось их уговорить – подождать до вечера. Ежели Вольной до сего времени не объявится – значит, и впрямь нуждается в помощи.

Он оказался прав. Когда улеглась настоящая тьма и шайка уже вострила ножи, дверь вдруг распахнулась, и в лавку ворвался Вольной. Правда, облаченный в женское платье.

Сия баба гренадерского росту, у которой из-под слишком короткого платья торчали голые ножищи, являла зрелище столь жуткое и уморительное, что все попадали кто куда, зажимая рты, чтобы не грохнуть от души и не привлечь ненужного внимания таким безудержным весельем.

Они еще не успели насмеяться вволю, как Вольной схватил лопату и, в два взмаха вырвав драгоценную армянскую кассу, скомандовал сбор к отплытию.

Он не рассказывал, как удалось освободиться: не до этого было. Товар, еще не проданный, пришлось бросить. Елизавета по приказу атамана торопливо облачилась в женское крестьянское платье (и такое имелось на всякий случай). Вскоре в лодку, на глазах у сонных стражников, погрузились не шесть мужиков, которые могли быть в розыске, а только четыре, а при них две бабы, одна из которых, очевидно, собралась прежде времени рожать, ибо ее стоны да охи неслись по всей реке (Вольной тужился вполне правдоподобно). И лодка растаяла в тумане.

* * *

Уже в Нижнем Новгороде, отдыхая в Елизаветиной постели, играя ее косою, Вольной, посмеиваясь, поведал, что ему на гауптвахте, конечно, сперва тяжеленько пришлось: и железной сутуги⁵ отведал; и «монастырские четки» поносил, то есть на шею ему надели тяжелый стул, используя его вместо рогатки и кандалов; и к притолоке его подвешивали на вывернутых руках. Но он все балагурил, отшучивался, да столь едко, что солдаты прониклись к нему величайшим отвращением и наконец кинули в холодную, намереваясь продолжить допрос.

Конечно, ежели б стражники только могли предположить, что им в лапы попался сам Гришка-атаман, Вольной не отделался бы так легко. Сейчас в нем предполагали мелкого воровского пособника. Бог весть, что случится завтра. Следовало смяться, прежде чем кому-то в голову придет губительная догадка.

У Вольного всегда имелся в кармане и под стельками сапог нужный воровской припас: отмычки, ножички, напильнички. Увы, караульный оказался малым сведущим и выпотрошил все его тайники. Как говорится, сыскался дока на доку!

Ежели б Вольной мог, он бы, конечно, приуныл, однако такого чувства он сроду не испытывал, как всегда уповая на свою невообразимую удачу.

И она его не подвела!

В холодной, кроме него, была заточена молоденькая разбитная бабенка, которая третьего дня поскандалила со своим сожителем, а расхлебывать выпало стражнику, явившемуся разнимать дерущихся: горшок с горячими щами, летевший в провинившегося ухажера, угодил в голову солдатику и чуть не отправил его на тот свет.

Мужик, оказавшийся проворнее всех, сбежал, стражника поволокли к лекарю, бабу выпороли и кинули в подвал – охладить страсти.

Как уж сговорился с нею Вольной, что сулил, на что сманивал, бог весть, только дело кончилось тем, что в подвале поднялся страшный крик и стон: бабенка вопила, что вот-вот помрет, что уже померла... Сердобольный караульный отпер двери и свел несчастную на двор, где получил доброго леща от Вольного, переодетого, как мы знаем, в женскую справку, и грянулся оземь, а «проклятушая баба» с необычайным проворством перескочила двухсаженный забор – и была такова.

Выслушав сию историю, которую острослов Вольной сумел поведать с неподражаемым юмором, Елизавета хохотала до изнеможения, восхищаясь удалством и проворством своего любовника. Проснувшись же среди ночи, задумалась о подробностях сего невероятного побега.

⁵ Проволочная плетель.

Да уж, наверное, не только словесно улещал Вольной свою сокамерницу! Кто-кто, а Елизавета прекрасно знала, как умеет сей ласковый змий заползти в самое сердце, внушив женщине, что, поспособив ему, она действует к собственному благу. И, наверное, ублажив доверчивую бабенку по всем статьям, он что-то посулил ей на будущее, иначе едва ли бежал бы с ярмарки так поспешно, будто за ним гнались черти. Вернее, чертовки. Не только солдат опасался он. Ох, не только!..

Эти мысли были Елизавете нужны, будто яблоку червоточина. Она гнала их изо всех сил, но не могла отогнать.

Самая малая тревога всегда причиняла ей множество лишних беспокойств, более воображаемых, чем действительных, как это вообще свойственно женщинам, не имеющим в жизни иной путеводной звезды, кроме сердечной страсти. Для них не писан иной закон, кроме любовного. И всякое от него отступление – истинная трагедия, хотя любой человек, сердце которого спокойно, счел бы, что все это – буря в стакане воды.

Минуло время безнадежности и отчаяния, когда ей было все равно, к кому прилепиться душой и телом, лишь бы забыться. Понимая, что Вольной был всего лишь случайной картою, вовремя выпавшей из колоды судьбы, она все же хотела жить с ним одной жизнью, идти одним путем, но чувствовала, что дороги у них разные; и чем дальше, тем больше они расходятся. Впервые в жизни задумалась Елизавета над тем, что для истинного счастья мало только телесного блаженства. Не зря сказано в Писании о муже с женою: «Да будут двое дух един».

Дух един – не плоть!..

Вольной был весьма неглуп и не мог не понимать перемены в ее настроении. Не потому ли с такой многозначительностью опускал подробности своего общения с той бабенкою? Он как бы хотел показать Елизавете свою независимость от нее, свою вседозволенность и свободу... Ну, Вольной, он и есть Вольной!

Эти мысли были слишком сложны, неразборчивы и мучительны, Елизавета скоро устала обижаться и терзаться из-за каких-то вымыслов и предположений. Она уснула вновь. Но и во сне преследовала ее мысль, что Вольной своим рассказом хотел так или иначе причинить ей боль, заставить ревновать, мучиться... Он тоже пытался подчинить ее своей власти. Как будто мало было власти любви!

Именно с этой ночи их отношения стали исподволь изменяться. И даже в самой страсти появился едва уловимый оттенок мстительности.

3. Ведьмина дочь

К шайке Гришки-атамана прибудились двое беглых строиловских крепостных: Данила-волочес и Федор Климов (не ошибался-таки следователь!). Елизавета, которая не находила ни малейшей радости во владении живыми людьми как собственностью, не замедлила подписать обоим вольные. После этого Климов выпросился из воровской ватаги (рисковое ремесло, в отличие от Данилы, нимало не влекло его, да и смерть Марьяшки сильно поразила душу, вселив в нее глухое, неизбывное отчаяние) и пристроился на освободившееся место сторожа на городском кладбище. Место сие, считавшееся почтенным и вполне хлебным, пустовало, и желающих занять его не находилось довольно долго, ибо трое предшественников Климова один за другим померли насильственной смертью, а с ними и молодой дьячок из кладбищенской часовенки, после чего она опустела.

Уж на что Елизавета вела жизнь уединенную и замкнутую, но до нее доходили слухи об этих убийствах, случавшихся четыре года подряд непременно перед Пасхою. Тела жертв впоследствии были найдены брошенными на свалку или спрятанными в лесу, или просто в придорожной канаве. Они поражали сходством способа умерщвления. Все оказались истыканы, исколоты, словно бы для того, чтобы скорее истекли кровью. Однако впоследствии, очевидно уже после смерти, обмыты; так что ни на белье, ни на одежде, ни на самих телах крови не было. Изумляло, чем эти несчастные могли подать повод к такому злодейству? Без цели сие не могло быть сделано никем и никогда, а между тем повторялось из года в год. Обычный душегубец удовольствовался бы одним убийством; этим словно бы руководила некая важная, таинственная сила... Самое страшное, что все происходило именно под Пасху, уподобляя в сознании народном этих мучеников – мученику-Христу.

Очередное убийство свершилось незадолго до того, как Федор Климов заступил на свое место. Был он парень неробкого десятка, потому на все предостережения отвечал, что до следующей Пасхи у него время наверняка есть, а уж потом – как бог рассудит.

Елизавета была невеликая охотница до кладбищ, однако же нашла время проведать своего бывшего крепостного. Скука томила ее, и что угодно годилось ее рассеять.

Нечего и говорить, скромному нижегородскому кладбищу было далеко хотя бы до того католического, кое видела Елизавета в Италии, с его четким ранжиром могил и пышными надгробиями. Здесь все было проще: оплывшие могилы, почернелые кресты, обветшалые оградки... Проще, но и милее русскому сердцу.

Горло ее вдруг перехватило. Эти серые кресты, робкая поросль на холмиках, ветла, подернутая бледно-зеленой живой дымкою, теплый ветерок – словно легкое дуновение печали. Неутолимой, но сделавшейся уже привычной и даже потребной для просветления души...

То здесь, то там взгляд отмечал следы неустанной заботы: аккуратные кучки сухих будыльев, над коими курился синий дымок, подправленные холмики, свежесыпанные песком лужи. Это уже были труды Федора. Вскоре Елизавета увидела и его самого. Он стоял, опершись на лопату, с живейшим вниманием глядя на высокую березу, в развесистой кроне которой была укреплена новая, еще белая скворешня.

Федор был изрядного роста, статен, русоволос, ликом скуласт и несколько суров, но взором светел. Он встретил Елизавету застенчивой, доброй улыбкой, словно бы и не удивился ее появлению; поклонился в пояс, потом вновь с тревогою уставился на скворешню, откуда раздавался жалобный писк.

– Что, оголодали птенчики?

– Беда как оголодали, барыня! – сокрушался Федор. – И куда только папаша с мамашею запропалились, ума не приложу! Уже сколько времени вот так: подойду погляжу – они все вопиют.

– Да уж не помрут, – успокоила Елизавета, уповая на разумность природы. Однако забота не сходила с Федорова чела.

– Больно уж несмышлены! Еда-то есть – только клюв протяни. Да где им, робятишкам, исхитриться!

И тотчас после сих слов, показавшихся Елизавете несколько странными, черный птах возник из глубокой небесной синевы, опустился на жердочку и просунул голову в скворешню.

– Ну, слава богу! – усмехнулась Елизавета. – Не дал деткам пропасть!

Федор кивнул, тоже довольный, как вдруг из скворешни раздался странный басовитый клетот, более напоминающий не мелодический птичий глас, а возмущенный бабий вопль, и прямо на голову стоящим внизу в изобилии посыпались полудохлые дождевые черви.

Заслоняясь руками, Елизавета смотрела вверх.

Скворчиха с быстротой иголки в проворных пальцах молодой швеи сновала головкой в скворешню и обратно, словно рачительная хозяйка, которая вернулась домой, обнаружила там чужой мусор и поспешно избавляется от него.

«Что такое? – изумилась Елизавета. – Разве способен дождевой червь заползти на такую вышину и влезть в скворешню?!»

Тут она услышала какое-то смущенное покряхтывание рядом и обернулась.

Вид Федора был до крайности сконфуженным. Он и смеялся, и стыдливо прятал глаза. Елизавета внимательно взглянула на его перепачканные землею пальцы, на замаранные белой березовой корой лапти и портки... И, все сразу поняв, расхохоталась.

– Так ты, что ли, подкормил их, да? – наконец-то смогла она выговорить.

– Ну, так что же делать было? – смутился Федор. – Орали! Жалко!

«Господи, – подумала Елизавета. – Какое же он доброе, бесконечно доброе дитя! И смеется-то по-детски – изумленно, счастливо...»

Внезапно лицо его омрачилось. Смех словно ножом срезало. Федор замер, уставившись куда-то в сторону узкими, потемневшими глазами.

Елизавета обернулась.

Неподалеку стояла худая малорослая девка в коричневом мешковатом одеянии и угрюмо глядела на Елизавету из-под низко надвинутого платка.

– Пропал... пропал мужик! – вдруг молвила она негромко, со странной, пугающей отчетливостью, неопределенно поводя перед лицом сухим, скрюченным перстом. – Назарка, сторож... а? Пропал!

Она умолкла и еще какое-то мгновение мерилась взглядами с Елизаветой, потом повернулась и скрылась меж крестов. Только прошуршала пожухлая трава на дорожках – и все стихло.

– Откуда такая... подползла? – спросила Елизавета, не в силах избыть безотчетный ужас, от которого стыли пальцы. И впрямь: было так, словно шли они с Федором, и вдруг ожила под ногою серая ветка и скользнула под камни. Ранняя змея, погибель, на которую они чуть-чуть не наступили!

– Так, девка... дочка сапожника Ефима, Ефимья тож. Мать недавно схоронили. С тех пор не в себе она, выкликает... Ходит тут, болтает всякое.

– К тебе ходит? – уточнила Елизавета, с невольной жалостью поглядев на Федора.

– Может, и ко мне, – проговорил он тихо, с глухой тоской в голосе.

Не ее было дело, а то Елизавета непременно сказала бы Федору, что от таких Ефимий надо держаться подальше!

Пора было уходить. Елизавета обвела взглядом ближние могилки, рассеянно коснулась серого большого креста (его еще не успело скосить время) с двумя надписями, означавшими, что здесь похоронены муж и жена или другие родственники, и вдруг ахнула так, что Федор

одним прыжком оказался рядом и протянул руки, готовый подхватить графиню: она побелела и, казалось, вот-вот упадет.

– Что случилось? Что с вами, барыня? – пролепетал он испуганно, проследив за ее окаменелым взором, устремленным на этот крест, но ничего там не увидел, кроме надписи, которую прочел по слогам (Федор был чуть грамотен, что считалось неременным условием для получения должности кладбищенского сторожа):

«Елагин Василий». Далее был начертан крест, что означало: «умер», и дата: «5 марта 1758 года».

А ниже:

«Елагина Неонила. Умерла 29 августа 1759 года».

* * *

Всю ночь Елизавета проплакала. Совсе не о Вольном, который снова не пришел, лила она слезы. Ей казалось, что такого потрясения, как сегодня, она не испытывала никогда в жизни. В ее памяти Неонила Федоровна так и лежала на каменном полу Ильинской церкви. Но ведь кто-то забрал ее тогда, три с половиной года назад, схоронил по-людски!

Кто?.. Уж не Алексей ли Измайлов? Ведь доподлинно известно, что он не утонул и, может быть, терзаемый совестью, воротился в церковь упокоить тело Неонилы Федоровны, в смерти которой был отчасти повинен. Нет, решила Елизавета, это мало похоже на Алексея, на Леха Волгаря!

Она размышляла день и другой, а потом вызвала к себе Данилу и попросила его побывать на Егорьевской горе, разузнать про бывших обитателей Елагина дома и соседа их, бобыля Силуяна.

Даниле пришлось не единожды хаживать на Егорьевскую гору, прежде чем он принес Елизавете вот какие новости.

Года три-четыре назад в Елагином доме, теперь принадлежащем преуспевающему скорняку, жила вдова бывшего городского целовальника с двумя не то дочками, не то племянницами. Одна из них вроде как вышла замуж, может быть, сбежала из дома, но больше ее никто не видел. Сама вдова в одночасье померла. Вторая девица ее схоронила честь по чести, в одной могиле с мужем, но едва отвели сороковины, как она продала дом, собрала вещи и уехала с каким-то стариком, назвавшимся ее родственником, прихватив с собой соседского Силуяна, бывшего ее верным слугою и защитником после смерти вдовы Елагиной. Куда она уехала, бог весть, хотя говорили, вроде как в Починки. А может, в Работки. Или в Арзамас. Словом, неведомо!

Узнав сие, Елизавета призадумалась.

Лисонька! Все это Лисонька сделала. Кто ж еще! Но как она узнала о смерти Неонилы Федоровны? Почему воротилась домой? Что расстроило ее бегство с Эриком фон Таубертом? И кто этот старик, назвавшийся ее родственником?

Елизавета готова была предположить самое невероятное: может быть, отец Тауберта? Но почему он увез ее не в Ригу, а в какое-то нижегородское село? Или это ошибка? Нет, скорее объявилась какая-то дальняя елагинская родня, ведь мать Неонилы была из Арзамаса...

Конечно, окажись здесь Вайда, он сыскал бы ответ на любой вопрос. Однако старый цыган остался при Татьяне, в Любавине, не больно-то объявляясь, но не оставляя своим призором ни жену свою, ни Машеньку. И удивительно: думая о дочке, Елизавета чувствовала облегчение при мысли, что ее неусыпно стережет пылающий, черный, единственный глаз Вайды. Его с Елизаветой связывало так много, что она теперь смотрела на него безо всякой злобы и страха, а как на близкого родственника.

Страстно хотелось увидеть сестру, вновь открыть ей душу, вновь ощутить тепло ее бескорыстной любви! Где искать Лисоньку?..

Немало минуло дней, прежде чем вновь притихла ожившая было тоска. И тогда Елизавета обнаружила некую странность: ее влекло на могилку к Неониле Федоровне! Стоя над могильным холмом, где навеки успокоилось смятенное, противоречивое, скрытное сердце, Елизавета пронзительно ощущала боль и одиночество ее существа, избравшего отмищение своей судьбою и в конце концов отмистившего себе же. Она давно простила Неонилу Федоровну, а сейчас начала и жалеть ее. И эта жалость как бы крепче привязала ее к родной земле! Листок, который оторвался от ветки родимой и улетел на чужбину, воротился домой. И в этой могиле он обретал корни свои, обретал связь с былым и в то же время новые надежды на будущее.

Могилка была ухожена. За ней чувствовался хорошо оплачиваемый присмотр. А сие значило, что кто-то постоянно понуждал прежнего сторожа за ней приглядывать. Однако при Федоре никто еще не появлялся, и Елизавета взяла за правило ходить на кладбище как можно чаще, надеясь рано или поздно встретить человека, коему так дорого сие захоронение.

* * *

Со временем она все более сдружалась с Федором. Натуру Елизаветы всегда особенно влекло к людям добрым и цельным. По сути своей она была, конечно, зеркалом (ведь всякому человеку есть свое соответствие в мире материальном) и, отражая людей, с которыми встречалась, сама так или иначе уподоблялась им. В данном случае именно незлобивому, спокойному Федору. Он немножко напоминал Елизара Ильича, по дружбе с которым Елизавета тосковала, но отношения с Федором не были обременены ненужной влюбленностью, а потому особенно грели душу.

Удручало одно: все чаще Елизавета встречала на кладбище Ефимью... Да какая там, к черту, Ефимья! Просто Фимка, Фимка она была: мелкая, сухая, что обглоданная кость, вся черная, смуглая, да еще и покрытая неисчислимым количеством темных веснушек, будто нарочно меченная, с настороженными, по-змеиному тусклыми глазами на востром лице, с черными, пружинистыми, затянутыми под платок волосами, с длинными костлявыми пальцами. Елизавете даже чудилось, что Фимка под своей коричневой одеждой вся покрыта жесткой черной шерсткою. Одно слово – кикимора, как ее живописует молва: «Малешенька, чернешенька, тулово не спознать с соломиною, голова – что наперсточек. Ни с кем она, проклятушая, не родится, одна у ней радость: все губить, все крушить, всем назло идти, мир крещеный мутить!»

Уродство всегда ужасало Елизавету чуть ли не более других человеческих пороков. Она не могла понять, что за тяга порою живет в русских людях ко всем этим юродивым, калекам, убогим, изъязвленным... Их не просто жалеют, не просто умиляются их порокам и страданиям, но и непременно ищут высший смысл и волю господню в уродстве и готовы чуть ли не в прококах числить какого-нибудь гугнивого и косноязычного трясуна, сующего всем под нос язвы свои! Елизавете, с ее статью и красотой, казалось, что всякое уродство внешнее и даже простое искажение богоподобного облика непременно влекут за собою уродство душевное или тайный изъян, зачастую глубоко и умело сокрытый, но все же неприметно источающий гной.

Словом, Елизавету просто трясло при виде Ефимьи. Даже капли сочувствия к ней она не испытывала, хотя та недавно совсем осиротела.

Отец ее, сапожник, пришедший в Россию из Польши (а откуда он туда прибыл, бог весть!), недолго прожил после смерти жены: ненароком свалился с крыльца и сломал шею. Кумушки-соседки, правда, шептали, что тут дело нечистое, не иначе жена его с собой взяла: покойница, по слухам, была баба нехорошая, дьявольщиной занималась, от коровушек молоко отдавала. А ежели ночами кто-то видел на улице черную свинью, то спешил скрыться и утром

поставить в церкви свечку. Рассказывали: померла она странным образом: легла спать живая и здоровая – а поутру нашли ее посреди двора полумертвую, всю в крови; на шее и затылке страшные раны от собачьих зубов. Весь тот день она промучилась, к ночи начала помирать. Трудно мерла, сильно плохо ей было! Пред полуночью стала выкликать. Пена изо рта идет, а она кричит, кукарекает, хрюкает...

По совету сведущих людей земли принесли с росстани трех дорог, намешали в кружку. Она выпила, но и это не помогло. Померла лишь, когда залезли на крышу и венец подняли. Да и то перед тем, как дух испустить, своим же домашним свинью подложила: перину, на которой помирала, велела спрятать в клеть и строго-настрого запретила на нее ложиться или продавать. А та перина была единственная в доме. Все спали на тощих тюфячках, но и теперь, знать, им на мягоньком не понежиться, если, конечно, не решат старой ведьмы послушаться.

Народ верит, что ведьма – она и по смерти ведьма: из могилы, случается, встает, живых мучает... Некий предусмотрительный человек – видать, из тех, кому сапожничиха успела насолить, – тайком забил ей в могилу осиновый кол. И теперь ей нипочем было не подняться из гроба!

Однако, ведьма или не ведьма, сапожникова баба была родной матерью Ефимьи, и та очень тосковала после ее смерти. Когда ж схоронили отца, почти вовсе не уходила с кладбища.

* * *

Как-то раз, уже на пороге лета (черемуха тогда цвела), Елизавета не дождалась Федора на могилке Елагиных и решила сама его поискать. Бродила, бродила меж холмиков, да вдруг вышла к сторожке.

Федора не было и здесь. На крыльце сидела огромная толстая баба с тяжелыми прямыми плечами и плоским неподвижным лицом. Елизавета ее уже как-то раз видела. Это была старшая дочь сапожника, Фимкина сестра, хотя большего несходства, чем между ними, было невозможно вообразить. Роднило их, кажется, лишь то, что обе уродились неряшливы до безобразия, и вид у них был такой, словно они засижены огромными навозными мухами.

Так вот, эта сестра сидела на крыльчке Федорова домика, широко расставив шишковатые босые ноги и свесивши промеж них грязный подол, куда были ссыпаны семечки. Шелуху она сплевывала прямо на ступеньки, тупо глядя вдаль своими словно бы незрячими глазами. А Фимка стояла тут же и с неопикуемой яростью кромсала ножом синюю мужскую рубаху. Лицо ее при сем было вовсе неподвижным, и Елизавету поразило внешнее равнодушие в соединении с ожесточенною работою быстро мелькающих рук. Нож был, по всему видать, тупой; ей приходилось прилагать большие усилия, чтобы справиться с крепкой тканью.

– Пропал... пропал мужик! – выкрикивала она хрипло, и Елизавета вспомнила, что уже слышала сие. – Пропал!

Елизавета замерла, с трудом подавляя внезапно возникшее желание вскочить на крыльцо и отвесить ополоумевшей бабе полновесную затрещину. Рубаха была мужская и, вне всякого сомнения, принадлежала Федору.

– Ты, бабонька, часом не спятила? – холодно произнесла Елизавета. – Чего добрую вещь портишь? Ишь, расхозяйничалась тут! Вернется Федор, по головке не погладит!

Фимка застыла как соляной столб, а сестра ее медленно обратила на Елизавету взор своих маленьких глазок.

Та невольно отступила на шаг. Безумие – тупое, непроглядное безумие, чудилось, набросилось на нее и поползло по всему лицу и телу, мелко перебирая мягкими, паучьими лапками!.. Баба некоторое время сидела, уставясь на нее, потом отвела глаза и так же тупо устремила их в пространство.

Фимка тем временем затряслась, будто в падучей, и завывла нечленораздельно, так что Елизавета с трудом могла разобрать.

– Загубил... загубил, ссильничал сироту! Ништо! Отольются ему мои слезыньки! Разве зря я на материну перину легла? Прохор-то, слышь, пропал... сторож тут раньше был. Пропал, пропал мужик!..

На губах ее выступила пена, босые ноги беспорядочно били в доски крыльца. И все это, вместе с оцепенелостью ее сестры, было до того жутко и отвратительно, что Елизавета кинулась прочь. Она быстро шла по кладбищу, размышляя над тем, что услышала. Ссильничал, видите ли! Даже зная Федора столь мало, сколько знала его Елизавета, можно было положить руку на сердце утверждать, что ни на какое насилие он не способен. А коли впал-таки Федор в грех, то, без сомнения, сия пакостная бабенка его во грех и ввела. И если теперь существует сторона страдающая, то она – отнюдь не жуткая кликуша Фимка, а именно Федор.

Конечно, все непросто! Елизавета далека была от того, чтобы предполагать сложность сердечных переживаний только среди людей родовитых и именитых. Те, кого господа снисходительно числят простым народом, являют миру такие типы и характеры, перед которыми склонился бы и сам Шекспир! Елизавета вспомнила поруганных Валерьяном любавинских девок, гибель старосты, загнанного в болото, самоубийство Марьяшки... Много, ох, много тайн сокрыто за волоковыми окошками, за бревенчатыми стенами! И встреча с Фимкою произвела на нее самое тягостное впечатление именно потому, что она ощутила здесь нечто черное и злобное, медленно, как ржа железа, разъедающее душу. Это было ей хорошо знакомо! Такого испытать она и врагу не пожелала бы, не то что добряку Федору. Но увы, судьба у нас совета не спрашивает!

Погруженная в свои мысли, она не замечала, куда идет, и наконец уткнулась в черемуховые заросли. День был яркий, солнечный, щедрый на краски и звуки, а здесь, в тени, крылась пряная осенняя сырость... И тут же увидела она того, кого искала.

Федор сидел на земле, обхватив руками колени, и глядел на крест, полустертая надпись коего гласила, что здесь лежит дочь одной из богатейших фамилий Нижнего, умершая в расцвете юности. Минуло тому уже немало времени, и черемухи вокруг разрослись предивные! А в том году их раннему цветению и вовсе не было предела.

– Что ты здесь, Федор? – Елизавета мягко тронула его за плечо.

– Сижу... думаю, – отвечал он, не повернувшись. – Вот, чудится, вопрошает она: на что я здесь, а не на воле?.. И сколько их таких тут, сколько, господи!

– Не страшно тебе здесь? – сочувственно спросила Елизавета. Федор поглядел на нее с болезненным недоумением:

– Страшно. А как же! Они знаешь какие, барыня?

– Они? Кто ж они?

Федор молча повел глазами. На его лице выразилось отчаяние.

– Да полно, – мягко сказала Елизавета. – Им ли держать на тебя обиду? Ты ли им не служишь?

– Служу, – пробормотал Федор. – Не служу, а... отслуживаю. Отмаливаю!

– Отмаливаешь?! – Елизавете почему-то вспомнились Фимкины слова. – Какой же грех ты пред ними совершил?

И вот тут-то, под черемухами, возле последнего пристанища осьмнадцатилетней Ангелины Воздвиженской, и поведал ей кладбищенский страж о том, что случилось с ним чуть более месяца назад.

Могилу Фимкиной матери, притулившуюся под самую ограду, словно на выселках, да еще с этим осиновым колом, туда воткнутым, Федор всегда обходил стороной, даже не прибирал, не то опасаясь, не то брезгуя. Но когда рядом вырос холмик над гробом сапожника

Ефима, волей-неволей начал блюсти его. И вот как-то на рассвете, делая обход своему хозяйству, нашел Федор на этой свежей могилке недвижимую и, как ему сперва помстилось, мертвую фигуру. То была Фимка. Федор не сразу понял, жива ли она или уже отдала богу душу, воссоединилась с родителями.

Федор, перекрестясь, поднял ее худое, заоченелое тельце, да вдруг померещилось ему биение жилки на грязной тощей шее... Фимка оказалась живою, только до последней степени изголодавшейся и ослабшей, даже говорить не могла. Федор отнес ее в сторожку, ожидая, что оклемается да уйдет домой. Очнувшись, Фимка сказала, что идти ей некуда, дом сгорел: наверное, подожгли соседи, всегда ненавидевшие и боявшиеся их семью из-за матери, да и просто потому, что пришлые, чужаки.

Так она и осталась у Федора. Сперва он лишь ходил за нею, поил да кормил. Потом, когда выправилась да окрепла, незаметно привык к ней, сошелся. Звал под венец – она со злобою отказалась. Так и жили. Скоро после того прибрела к ним Фимкина сестра, поселилась, не спросясь особо.

Все сие выложил Федор без охоты, скупыми словами, и Елизавета опять подумала, что все непросто. Ох, как непросто...

– Помню, барыня, – вдруг вымолвил он, поворачивая к ней лицо со странно расширенными глазами, – когда поднял ее с могилки, Фимку-то, вдруг смерклось все, ровно не рассвет восходил, а ночь наступала... Тихо, холодно сделалось! Как бы дыхание затаилось у всего, что вокруг. А ночью тою, слышь-ко, снилось мне, словно средь зимы, на снегу, задавили меня две змеищи крылатые...

– Злая твоя Ефимья. Суцая змея! – Елизавета вспомнила сцену на крыльце.

Федор кивнул:

– Злая, истинно. Боюсь я ее. Давеча занедужила, скрутила ее какая-то лихоманка. Я ей малины заварил, а она бормочет: «Дай лучше крови высушенной!» Потом опаматовалась: это, мол, тебе почудилось, это я в бреду. Может, и так оно...

– Господи! – Елизавета перекрестилась похолодевшею рукою. – Да как же ты? Зачем тебе все это?!

Он помолчал.

– Слышала ли ты, барыня, что говорят знающие люди? Будто смерть лишь поначалу страшна, а как войдешь в тот коридор, и ворочаться не хочется?.. А если Фимка простить мне не может, что вернул ее?.. К жизни вернул. Вот и живу меж двух огней: Фимка меня ненавидит, что от смертных врат отвел, они... – Федор повел рукою вокруг, – они за то, что у них ее отнял.

– Ну, знаешь, Федор! Можешь поверить: им на тебя не за что быть в обиде, – сказала Елизавета.

Ах, как же кипела, буйствовала вокруг черемуха! Опьянелый ветер бушевал в верхушках, и аромат ее, до боли в сердце, сладостен. Бился от счастья жизни белый мотылек в косом солнечном луче. И светло, светло было в бездонной выси! Не хотелось в тот миг думать о смерти. И никакое предчувствие не заохлодило Елизавете сердце.

4. Кладбищенский страж

Не прошло и полугода, как рамки Нижнего уже сделались тесны Вольному! Настало лето, и его вновь поманили к себе волжский плес и окрестные леса. Виделись они с Елизаветою теперь редко. Она больше довольствовалась слухами о Гришке-атамане, чем общением с ним.

А ему не было угомону! Изобретательность его оказалась такова, что даже сбившиеся с ног солдаты порою недоумевали, то ли матом крыть неуловимого вора, то ли смеяться неистощимости его причуд. Собственно кража и собственно добыча влекли его куда меньше, чем необходимость нагородить вокруг каждого дела плетень уверток, уловов, подходцев, отвлекающих маневров... Даже пропитание для соумышленников добывал он, не покупая или крадя, а ошеломляя округу затейливостью самого малого своего предприятия.

Как-то, придя в Арзамас, шайка Вольного отыскала на окраине пустую избу и устроила в ней нечто вроде калашного заведения. Оконце затянули бычьим пузырем, чтоб не видеть было, что происходит внутри. Лишь только настало утро, удалые молодцы Вольного начали в избе тереть камень о камень, дабы прохожие думали, будто в калашном заведении муку мелют. Вольной посыпал себе голову мукою, чтобы больше быть похожим на калашника, и высунулся в окно. Увидав проходившего мимо мужика с бараньей полутушею (неподалеку был базар), он подозвал его, взял все мясо и, посулив, что сейчас вынесет ему деньги, передал мясо товарищам, кои тотчас ушли из избы другим ходом.

Соскучившись ждать, мясник вошел в избу и никого в ней, конечно же, не нашел. Собралась толпа, он сообщил прохожим свое горе. Общее мнение сошлось на том, что люди не могли исчезнуть бесследно, а стало быть, баранины его лишили черти: из преисподней вышли, в преисподнюю и канули!..

Но частенько проделки Вольного и его ватаги были не столь безобидны. И хоть народная молва и восхищалась удалью Вольного, щипавшего богатеев, Елизавета не удивлялась, что ее чувства к нему напоминают переменчивый апрельский денек...

* * *

Выслушав от Федора историю его связи с Фимкою, к которой его привлекло, конечно же, одиночество и тоска после гибели Марьяшки (сердечная скука порою так шутит с русской душою, что потом только диву даешься... Вот именно – потом, когда уже довело до греха!), Елизавете вдруг захотелось выбросить из своей жизни все неудовольствия и недоразумения, насладиться своей молодостью, красотою, счастьем. Она почти не выходила из дома, а ежели все-таки приводилось, то со всех ног спешила обратно, уверяя себя, что уж нынче-то ночью Вольной придет непременно, и они вновь обретут счастье в объятиях друг друга. Но его не было так долго, что Елизавета стала сомневаться: придет ли он когда-нибудь вообще?

И вот однажды, воротясь от обедни, она, к своему изумлению, обнаружила, что Вольной уже ждет ее... А ведь он почти никогда не приходил днем, сторожа ее честь!

Елизавета несколько опешила, увидав его лежащим на своей кровати, поверх шелка и кружев, на смятых подушках. Рядом, теребя передник, стояла Улька, вся красная от восторга, и, не сводя с Вольного маленьких голубеньких глазок, слушала его рассказку о том, как однажды помылся он в бане и, выходя, увидел у входа драгун, которые когда-то пытались его схватить, а потому, конечно, могли запомнить в лицо...

Вольной вскочил обратно в баню, снова разделся, оставшись в одном исподнем, почти в costume прародителя Адама, разлохмаченный и неузнаваемый, кинулся мимо драгун прямым на гауптвахту, где и заявил караульному офицеру, что у него в бане украли платье и деньги.

Офицер, видя перед собою полунагого, плачущего человека, заявляющего, что он – московский купец, коего ограбили в бане, велел дать Вольному новую одежду... Но тут в комнате появился солдат, у которого Гришка-атаман как-то раз бежал из-под часов!

– Я согнулся дугой и стал как другой! – ржал Вольной, видимо наслаждаясь наивным ужасом Ульки, и продолжал свой рассказ.

Солдат не узнал Вольного, однако офицер велел поводить «ограбленного» по рядам, поспрашивать торгующих здесь московских купцов, действительно ли сей принадлежит к их сословию. В рядах он вновь столкнулся с теми самыми драгунами, от которых бежал из бани!

Те его схватили и повели обратно. Но уже не как московского купца, а как беглого разбойника. Плохо было бы дело, кабы воровская сноровка Вольного снова не спасла его: проходя мимо какого-то двора и заметив стоящую у ворот кадку с водой, он вырвался из рук драгун, вскочил на кадку, с кадки – на забор, оттуда – на двор, со двора перебежал в сад. И был таков!

Выслушав сие, Улька только и могла, что всплескивать руками и восклицать то «ох», то «ах». Однако, увидав на пороге Елизавету, испугалась и, съездившись, шмыгнула мимо.

Вольной же не шевельнулся: улыбаясь, смотрел на Елизавету, которая едва скрывала свое раздражение. Радость долгожданной встречи без боя уступила место всем тем обидам, которых так много накопилось в ее душе за время разлуки. Она обижалась даже и не на Вольного. Он такой, какой есть, его не переделаешь! Вот зачем она так терпелива? Зачем безропотно переносит это каждодневное унижение, придумывая все новые и новые оправдания для своего слишком занятого любовника, чья небрежность уже граничит с пренебрежением?

При всем изобилии мужчин, встреченных Елизаветою за эти годы, она все-таки еще мало знала сих представителей рода человеческого, потому не способна была понять главное: Вольной – вовсе не такая уж диковинка среди прочих!

Рознься нравом, повадками, образом мыслей, моральными устоями, они все как огня боялись обиденности, которая вообще способна свести на нет самое сильное чувство. Женщинам она вроде бы и не мешает: они рождаются с готовностью всю жизнь тянуть эту лямку, а мужчины... О, нет! Стоит им только почуять запах обиденности, как они встают на дыбы. И даже те неудачники, которых женщинам все же удается стреножить, всегда готовы закусить удила, в любой момент сбросить путы и со всех ног поскакать к новой дурочке, всем своим видом внушая ей, что лишь она способна их заарканить! Но стоит бедняжке преисполниться надежд, стоит аркану обиденности засвистеть в воздухе... Где там! Наш герой, всегда молодой и готовый к новым подвигам, уже далеко. И лишь туман женских слез застилает его след.

Счастлива только та женщина, коя вовремя угадает эту вечную строптивость мужчины и смирится с ней, сумеет ничего не видеть, не слышать, не знать. А та, которая живет сердцем, которой воображение причиняет больше беспокойства, чем реальная жизнь, которая не выносит неизвестности и духовного одиночества, она обречена на медленное умирание (ибо что такое мужская любовь, как не убийство своей любимой?). Ее пламенная любовь и влечет непостоянного героя, ибо чрезвычайно льстит мужскому самолюбию, – и в то же время ничто так и не отталкивает его, как пламенная любовь, которая норовит сжечь дотла!..

Самое лучшее в любви – небрежное спокойствие. Да где его набраться пылкому сердцу?!

Этой мудрости не оценишь, пока не постигнешь ее на собственном печальном опыте, а потому Елизавета зло спросила:

– Откуда ты прилетел, Соловей-разбойник?

– Где летал, там меня уж нету, – отвечал Вольной, лениво потягиваясь и пачкая сапогами (он никогда не носил лаптей!) кружевной подзор постели. Елизавета только бровью повела, упрекать не стала.

– И что же, сразу ко мне?

– Почти... – медленно улыбнулся Вольной. – Аль не ждала?

– Нет! – Елизавета передернула плечами и подошла к зеркалу, заправляя в косу легкие, выбившиеся кудри.

– Вре-ешь... – тихонько засмеялся Вольной. – Ждала. И я ждал!

Ах вот как! Значит, он ждал?!

Она сделала вид, что не верит ни единому слову, но сердце сладко зануло. Сразу захотелось сдаться на милость победителя. Обида же еще точила душу, как червь, и Елизавета не сдержалась, укорила:

– Зачем же ты перед девкою на моей кровати валяешься? Говорил же, никто не должен об тебе знать. Сам убеждал: я должна не только о своем имени, но и о дочери помнить, а сам разболтался тут, мечешь бисер перед свиньями!

Это все была ерунда, не стоящая внимания, но не скажешь ведь ему, что она способна ревновать его даже к Ульке!

– Да полно, – отмахнулся он. – Девка дура! Что она поймет?

– Дура! – с жаром поддержала Елизавета. – Круглая дура! Глупая, косорукая, неуклюжая!

Он молча слушал, поигрывая прищуренными зелеными глазами. Потом вдруг резко вскочил, и Елизавета оказалась в его объятиях. Он успел сказать только одно слово:

– Истомился... – и тут же затрещали крючки, начали рваться тесемки, и Вольной впился в ее голую грудь губами и зубами так, что Елизавета зашлась протяжным горловым стоном, закинув голову и почти теряя сознание. Вольной припал к ее рту; руки их путались, сталкиваясь, мешая, срывая друг с друга одежду. Однако это было слишком долго, и Вольной, едва освободив Елизавету от юбок, слюбился с нею стоя, подхватив под колени. Она вцепилась в его плечи, желая сейчас только одного – как можно скорее, как можно теснее слиться с ним!..

И только потом, много, много позднее, когда Вольной вдруг уснул, будто умер в ее объятиях, лежа среди изорванной, измятой одежды, на скомканных, влажных простынях, Елизавета вновь печально подумала, что бессмысленно его спрашивать, где был-побывал, где жил-поживал; и так же бессмысленно ему рассказывать о своих слезах, страхах, тоске, тревогах. Они случались каждый день. Но эти дни уже минули, они были прожиты врозь, их уже не вернуть; а если с каждым днем уходила и частичка любви, то разве стоит в этом признаваться сейчас, когда он наконец-то рядом и ее щека покоится на его горячей ладони, его рука – на ее бедре, когда телу так сладко, когда постель благоухает их любовью...

Сердце плачет? Ну, так что ж, ему не привыкать.

* * *

Так и лето прошло. Дымным выдалось оно, огненным! По городу то тут, то там вспыхивали пожары. Но горели не дома обывателей, а православные церкви. Уследить причину было почти невозможно. Случалось это обыкновенно среди ночи. И пока прибежали с ведрами, пока приезжали с бочками, огонь многое успевал. Кое-где прихожане устанавливали ночной караул, и тогда огонь вспыхивал внезапно. Впрочем, тут его удавалось быстро погасить. А вообще в этих пожарах было нечто сверхъестественное. Чудилось: от одной церкви к другой перелетает некая невидимая птица, роняя с крыл своих горячие искры-перья! Всякое, конечно, болтали. В одной церкви, мол, перед пожаром ворона каркала. В другой – кошка мяукала. В третьей – ребенок плакал.

Понятно, ни вороны, ни кошки, ни дитяти никто не видел. Так что дело здесь было явно нечистое. Кое-что заметить удалось только сторожу из церкви Трех Святителей...

Обойдя ночью церковь обходом и не приметив неладного, он отправился было спать, как вдруг услышал, что на колокольне кто-то переводит ⁶.

Дело было в глухую полночь. Мужик думает: что за диво? Начал осматривать колокольню – двери везде замкнуты, не пройти.

Пошел он было домой, слышит – опять переводит на колоколах. Подходит сторож к церкви – звон умолк. Начинает опять все тщательно осматривать – нигде никого! Думает, не веревку ли, проведенную с колокольни, дергает ветер? Привязав эту веревку, хотел было уйти, но не сделал и нескольких шагов, как та же самая штука повторилась.

Мужик начал читать молитвы и, крестясь, полез осматривать колокольню. Только отомкнул дверь, как сверху спустилась по воздуху женщина вся в белом...

Оторопевший мужик схватился и давай бог ноги, но за ним, не отставая ни на сажень, кружась в воздухе и ухая, что сова, летела женщина в белом.

Сторож догадался перекреститься – видение исчезло, но тут враз полыхнуло и на колокольне, и во всех трех куполах. Пожар сделался страшнейший! Сторож самоотверженно гасил огонь и так обгорел, что через день и умер, сокрушаясь лишь об одном: почему никто вовремя не прибежал на неурочный полуночный звон?! Он так и не успел узнать, что никто, кроме него, никакого звона не слышал...

Елизавета, пораженная этой историей, тоже пошла поглядеть на пожарище, куда отовсюду стекался народ. И вот, бродя вокруг обгорелого остова церкви, она вдруг увидела рисунок, начертанный мелом на черной закопченной стене. В ярких солнечных лучах он блестел, будто серебряный. Рисунок был явно сделан уже после пожара и представлял собою изображение то ли короны, то ли венца.

Елизавета поглядела на него, недоумевая, кому понадобилось баловать на пожарище, да и пошла себе домой, а ночью вдруг приснилась ей Августа, спящая на широкой кровати, которая медленно опускалась в разверзнувшийся пол остерии «Corona d'Argento».

Corona d'Argento. Серебряный венец...

Она лежала, глядя на игру узорчатых, серебристых в лунном свете листьев за окном, и, холодея, вспоминала надтреснутый голос, вещавший из тьмы:

«Не скрою, ваше высочество, сперва я возлагал на вас очень малые надежды. Более того, я полагал вас помехою, которую необходимо устранить. Этой моей ошибкою вызваны многие неприятности, которые сопровождали вас последнее время. Напомню только приключения в остерии „Corona d'Argento“ (это название имеет особый смысл для нашего Ордена)...»

– Да это просто чепуха! – громко сказала Елизавета, дивясь причудам памяти, которая порою так некстати умеет извлечь из своих сундуков залежи прошлого, что не продохнешь от едкой пыли. Но даже звук собственного голоса оказался бессилем рассеять внезапный страх.

Заснуть Елизавете удалось только под утро, да и то ненадолго: вскочила чуть свет и велела заложить коляску, везти себя по всем тем церквям, которых коснулось огненное крыло.

Воротилась усталая, перепачканная сажею и испуганная еще больше. На стенах всех обгорелых церквей увидела она изображенную мелом корону. Или венец...

Ах, как Елизавета мечтала, чтобы этой ночью пришел Вольной! Она сейчас готова была все ему рассказать. Только бы успокоил, только бы защитил от страха!

Но он не пришел. И эту ночь сомнений, размышлений и тревог Елизавета провела одна. Ей до смерти не хотелось верить в правильность своей догадки, так что к рассвету она почти убедила себя, что это не может быть знаком Ордена. Ведь о названии его мессир так и не сказал. Это лишь ее предположения! Это не более чем чьи-то шалости – рисунок венца! Может, это и не венец вовсе.

⁶ Звонит во все колокола.

Однако стоило внушить себе эти разумные мысли, как на память вновь пришел мессир с его высказыванием о том, что убийство православного умножает святость Ордена. И вообще нет злодейства против православия, коего Орден бы не разрешил... Сожжены церкви. Дьячок, три кладбищенских сторожа – и еще, может быть, какие-то мученики, о коих она не знает, – рассудительно и осторожно замучены до смерти. Обескровлены – зачем? Не нужна ли кровь их для каких-то таинственных чар Ордена?

Было так жутко и отвратительно думать о безумных злодействах каких-то фанатиков, что Елизавета сорвалась с постели, упала на колени перед образами и забормотала, пытаясь рассеять смутное впечатление отвращения и ужаса, которое ее совсем истерзало:

– Боже святой, боже крепкий, боже бессмертный, помилуй нас!

Она била земные поклоны, пока не почувствовала, что отлегло от сердца, и, нахмурясь, гоня от себя все страхи, воротилась в постель. А совсем забыть об Ордене помогло еще одно неожиданное воспоминание, вызвавшее слезы на ее глазах и надолго лишившее сна: наступало 29 августа – четвертая годовщина ее тайного венчания с Алексеем Измайловым... а стало быть, и смерти Неонила Федоровны.

* * *

Почему-то в этот день она шла на кладбище с надеждою увидеть на елагинской могилке кого-то близкого. Не Лисоньку, так хоть посланца ее... Но нет, никого там не оказалось. Даже Федора не было видно. А ведь с ним Елизавете особенно хотелось встретиться. Дом его был наглухо заперт. Хорошо хоть, что ни Фимка, ни ее сестра не попались на глаза. Потоптавшись у крылечка, Елизавета воротилась к знакомой могиле и стала там, задумчиво глядя на читающую-перечитанную надпись.

«Елагина Неонила. Умерла 29 августа 1759 года...»

Ей было тридцать шесть лет, когда она преставилась. В ту пору девятнадцатилетней Лизоньке этот возраст казался весьма почтенным. Теперь ей скоро сравняется двадцать три, а чувствовала она себя куда старше, так что тридцать шесть воспринимала если не как молодость, то уже и не старость. Наверное, Неонила Федоровна производила впечатление чуть ли не старухи потому, что была угрюма и озлоблена. Да как и не быть? Лисонька и Лизонька ровесницы. Значит, Неонила Федоровна родила свою дочь в семнадцать лет. Только в семнадцать! Но к этому времени у нее был позади бурный роман с князем Измайловым, жестокие муки ревности, потом внезапно вспыхнувшая любовь к Василию Стрешневу, его гибель, замужество за безответным Елагиным... А через несколько месяцев после родов – похищение дочери князя и бегство! То есть в два года, прожитые Неонилою в Измайлове, вместились все основные события ее жизни, а в оставшиеся семнадцать – страх разоблачения, губительные воспоминания, планы мести и, наконец, ее осуществление. И каким же мраком Неонила Федоровна затемнила свою молодость и зрелость! Право, ее можно было только пожалеть. И именно этим чувством было переполнено сердце Елизаветы, стоявшей над могилою и снова и снова читавшей: «Елагина Неонила Федоровна... Умерла... Покойтесь с миром!»

И перед внутренним взором вставало не постаревшее, искаженное последним, предсмертным уже гневом лицо, а нежные, тонкие черты молодой женщины, в одной рубашке сидящей у зеркала и медленно расплетающей две тяжелых косы, выпуская на волю прекрасные темно-русые душистые волны, а потом перебивая их голубыми атласными лентами, до коих Неонила была большая охотница. Это было одно из самых ранних воспоминаний Лизоньки, которое не оставляло Елизавету весь день; и сейчас, стыдясь невольных слез, она вынула из кармана широкую голубую ленту – самую красивую и дорогую из тех, что смогла сыскать в галантерейной лавке, – и хотела было повязать ею перекладину креста, на коей было начертано имя Неонила Федоровны, да одумалась: еще сорвет ветром или украдет недобрый человек;

вновь свернула ленту в аккуратный моток и осторожно подсунула под пласт дерна, коим была обложена могила.

Елизавета была так занята своими мыслями, что даже не постучала, когда пришла домой. Ткнула дверь, та и открылась. Очевидно, старый лакей Сидор, уходя с женою к вечерне, забыл запереть двери. Ну, ничего страшного: Улька-то наверняка дома.

Однако она миновала сени, столовую, но горничной не встретила. Вот те на! Бросили дом, что ли, сбежали все?

Вдруг Елизавета увидела на полу в гостиной кнут. Это был кнут Вольного: иногда он приезжал верхом и ставил лошадь в конюшню. Елизавета подняла хлыстик и, улыбаясь, заторопилась в спальню. Вольной, конечно, ждет ее там!

Она открыла дверь и тут же отпрянула, захлопнула ее за собою...

Казалось, проживи она еще хоть сто лет, из глаз не уйдет то, что видела всего мгновение: Улька с задранной юбкой, стонущая, причитающая от счастья, а над нею – Вольной, с небрежной насмешкою на лице убажывающий себя и свою мимолетную прихоть.

В спальне Елизаветы! На ее кровати! О господи, на той же самой кровати, которая помнит их объятия, поцелуи, слова!..

Вдруг сообразила: в спальне открыто окно, и любовники могут убежать. Вспышка ярости дала Елизавете силы вновь распахнуть дверь и ворваться в комнату – как раз вовремя, ибо Вольной уже заносил ногу через подоконник; красная, перепуганная Улька явно собиралась последовать его примеру.

В глаза бросилось малое кровавое пятнышко на смятом покрывале – след Улькина девства, небрежно взятого охальником Вольным. Вот так же и ее раскинул он четыре года назад на волжском берегу: небрежно почесал блуд свой в девственном лоне – да и был таков, оставив Лизоньку смывать кровь с ног да заштопывать прорехи в судьбе.

Ненависть ослепила Елизавету! Она вцепилась в растрепанные Улькины волосенки и рванула. Девка с воплем опрокинулась навзничь, Елизавета занесла кнут и обрушила на Вольного удар такой силы, что рубашка на его плечах лопнула. Он зарычал от боли, обернувшись к Елизавете с выражением изумления и ненависти. Но ее уже невозможно было остановить! Вольной, стиснув кулаки, дернулся обратно в комнату, но штаны его зацепились за гвоздь, он не мог ни броситься на Елизавету, ни убежать и в конце концов скорчился, сидя верхом на подоконнике, обхватив голову руками, чтобы хоть как-то спастись от ударов.

Елизавета могла бы забить его до смерти, когда б не очухалась Улька, не прыгнула отчаянно визжащей кошкою ей на спину.

Не составило труда оторвать ее от себя. Сейчас Елизавета могла бы рысь задушить голыми руками! Но это отняло какое-то мгновение, как раз достаточное, чтобы Вольной наконец-то смог отцепить штаны и вскочить в комнату.

Елизавета швырнула Ульку на него так, что оба едва удержались на ногах; мгновение глядела в лицо Вольного, залитое кровью, с рассеченной бровью, и на личико Ульки со следами пощечины. Переломив кнут, швырнула его под ноги Вольному и выскочила из спальни, так шарахнув дверью, что старый дом загудел, застонал; и этот стон преследовал Елизавету все время, пока она, не разбирая дороги, бежала по улицам бог весть куда.

Это стонало ее сердце. Оскорбленное, раненое сердце!..

* * *

Ноги меж тем сами привели ее на кладбище. Вот и сторожка. Окна завешены, но в шелку виден свет.

Посмотрела на небо. Да ведь уже глубокая ночь! Белый яблоневый дым дальних созвездий струился в вышине; и все кладбище, чудилось, окружено этим ледяным, прозрачным, звездным дымом. Вокруг стояла вдовья осенняя тишь; шаги звучали гулко, словно земля была схвачена морозцем.

Елизавета передернула плечами. Ее вдруг пробрал такой озноб, что клацнули зубы. Надо зайти к Федору – согреться.

Она робко толкнула дверь. Та отворилась. В глаза ударил такой яркий свет, словно здесь были зажжены все свечи.

Застыла, увидав сестру Фимки, стоявшую раскорякою и неловко, поспешно замывающую пол.

Елизавета усмехнулась бы на эту внезапно проявившуюся страсть к чистоте, когда б не ярость, с кою воззрилась на нее баба, так и застывшая в нелепой, уродливой позе. И той же неудержимой злобой сверкнули маленькие глазки Фимки, которая, почему-то вся в белом, взобравшись на табурет, торопливо замазывала известкой грязную печь и стену возле оной.

– Где Федор? – Елизавета не узнала своего вдруг охрипшего голоса.

– Нету... пропал мужик... – пробормотала Фимка, и ее глаза как бы вцепились в глаза Елизаветы, оцепеняя, зачаровывая, словно змея свою жертву. Но все-таки взгляд Елизаветы вырвался, скользнул ниже, куда еще не добрались грязно-белые известковые потоки, еще не скрыли ярких, словно кладбищенская земляника, красных пятен... Кровавых брызг?!

Фимка соскочила с табурета и, нашарив что-то в складках балахона, протянула Елизавете горсть монет.

– Возьми вот, – проговорила она. – Возьми и уходи. Тридцать здесь, тридцать... Как за того плачено!

– Где Федор? – Елизавета ударила по руке Фимки, монеты со звоном раскатились по всей комнатухе. – Что вы с ним?..

Сильный толчок в спину швырнул ее к печи.

Она ударилась лицом и сползла на колени. С трудом обернулась и, словно во сне, увидела медленно плывущее к ней каменное лицо Фимкиной сестры, а в ее руках – топор с лезвием, еще красным от свежей крови... Крови Федора?!

– Больно много знать хотел, – деловито пробурчала Фимкина сестра. – Выспрашивал, выглядывал. Вот и ты... Жалко, рано, далеко до Пасхи!

– Красное вино! Красное вино! – раздался безумный шепот.

И не успела Елизавета шелохнуться, как Фимкины руки по-змеиному обвили ее шею и стиснули с неожиданной силой.

Елизавета с хрипом рванулась. Красное лезвие было совсем близко. Вдруг смертельное кольцо на ее шее распалось, и пронзительный Фимкин вой ударил ей в уши:

– Люди! Лю-ди! Смотрят!..

Она кинулась под печку, забилась, извиваясь в судорогах, словно стремясь заползти в самую малую щель, скрыться от глаз тех, кто толпился за окнами.

Елизавета увидела множество бледных от лунного света лиц, со странным выражением печали смотревших сюда, в злодейскую камору.

Сестра Фимки замерла, словно пораженная молнией.

Елизавета смогла наконец подняться. Шатаясь, выбралась на крыльцо и бросилась к воротам.

Когда она уже схватилась за створку, ее пронзила знакомая боль в груди. Прижав ладонь к тому месту, где навек осталась незримая жгучая метина, Елизавета решила вернуться к кладбищу.

Тихо было. Тихо, темно.

Пустынно. Никого.

Как дрогнуло, рванулось и замерло вдруг сердце!

Никого?.. Но она же видела, видела людей, обступивших сторожку, молча, сурово и печально глядящих в окна!

Где ж они? Где ж те люди?

Елизавета неуверенно двинулась вперед.

Оцепенелая, молчаливая земля лежала перед нею, и острый, раздражающий запах будоражил ноздри.

Она быстро пошла к сторожке, уже ничего не боясь, ожидая, что там-то увидит людей. Но нет... Вдали мирно дремали могилы.

Вдруг в лунном луче у ее ног что-то блеснуло.

Елизавета наклонилась и подняла с земли атласную голубую ленту.

Это была та самая лента, которую она несколько часов назад, аккуратно свернув, спрятала под дернину на могиле Неонилы Федоровны. Елизавета тотчас узнала ее! Только теперь лента была смята и завязана бантом, словно только что поддерживала чьи-то распущенные кудри, да соскользнула или была сорвана ветром.

Елизавета вскрикнула, не слыша себя, не зная – что. А ночь молчала. Немая, страшная ночь!

Елизавета побежала куда-то. Ее провожал безумный бег света и теней, гонимых ветром. И темные ночные птицы носились, как духи.

Ну почему она была так слепа, о боже?! Почему она была слепа, когда подошла и встала за окнами, спасая ее, та настороженная, молчаливая, не имеющая определения в человеческом языке Сила?

Голубая лента холодила пальцы, прожигала до кости. Так, значит, Неонила тоже была там, за окнами? Смотрела на Елизавету? Шептала ее имя?

Слезы ослепили Елизавету, и она повалилась наземь.

* * *

Уже близился рассвет, когда она наконец нашла в себе силы очнуться и встать. Душа была пуста: ни горя о былом, ни надежд на будущее. Здесь, в этом мертвом безлюдье, умирали все чувства живых.

Вышла за ограду и обернулась на прощание.

Небо светлело, а кладбище меркло, темнело, словно бы отступало в дальние дали. И казалось, оно уже и не за оградой лежит, а где-то... где-то в бездне бездн.

То жар, то холод дурманили Елизавету. Завидевши при дороге темное зеркальце бочажка, свернула туда. Потянулась зачерпнуть воды, но замерла, увидав, что оттуда, из черной глубины, глядит одинокая звезда – отражение последней, уже утренней звезды.

Тоска сжимала сердце.

Боже! Почему оставляешь нас неразумными, несмышсленными? Вот она уходит отсюда, обреченная вовек не узнать, за что был убит человек. Или и впрямь стубили его лишь тупое безумие и злое безобразия? Неведомо, неведомо сие. Неисповедимы пути господни, словно пути небесных звезд...

Елизавета брела по пыльной дороге, устало перебирая в памяти события ужасной ночи, и ее не покидало ощущение внимательного взора, устремленного ей вслед. Она шла, томимая желанием обернуться, но принуждала, молила себя не совершать сего.

Она знала, она почему-то вдруг угадала, чей настойчивый взор преследует ее.

Там, позади, был он... Едва вступив в невозвратное братство, он силой своей доброты вызвал неведомые силы, чтобы спасти живую душу, не допустить гибели невинной.

Елизавета не оглядывалась, ибо не хотела, чтобы от ее взора он растаял, будто сон, чтобы навеки исчез тот, кто нынче ночью стоял рядом с призраками. Он – Федор, кладбищенский страж.

5. Судьба играет

В путешествии, как известно, все зависит от случая: можно рядом с домом оказаться в беде, можно с легкостью проехать через необитаемую степь. Елизавете не повезло. Уже, по ее расчетам, близок был конец пути, как вдруг все заволокло сырой мглой, которая постепенно обратилась в метель.

Вокруг не стало видно ни зги; лошади скоро засеклись тащиться по вязкой грязной каше. Вдобавок кучер сообщил, что сбился с пути.

Вздыхнув, Елизавета велела остановиться и пересесть к ней, чтобы и лошадям, и самому себе дать роздых. Лавр, блаженно шмыгая носом, притулился в уголке, даже не стряхнув запорошенного армяка, с коего тут же потекло.

Елизавета смотрела в окно, уткнувшись в соболий мех капюшона и радуясь, что надела эту теплую накидку. А вот ноги начали зябнуть. Жаль, не велела поставить жаровню с горячими угольями. Но ведь Починки не так уж далеко от города, надеялась, что дорога будет недолгой. А сейчас, в этой мгле, потерялись всякие представления о времени и пространстве.

– Ох ты, стыть какая, – пробормотал Лавр. – Да ништо, барыня, с рассветом ветер непременно утихнет.

– С рассветом?! – вскричала Елизавета. – Ты что же думаешь, нам тут еще до ночи сидеть?

– До ночи! – вздохнул Лавр. – Кабы до ночи, так еще спасибо скажешь!

Ничего не попишешь, старый кучер умел утешить... Впрочем, Елизавета понимала, что он побольше ее понимает в дорогах и погоде, потому следует довериться его опыту. С голоду они, конечно, не умрут; вдобавок водка есть. Но где набраться терпения?

Она переменила позу, поджав под себя ноги, и сказала:

– Выпей водки, Лавр, да вздремни, что ли. А я покараулю. Если что, разбужу.

Лавр не заставил себя уговаривать. Вообще слуги Елизаветы обходились со своей слишком задумчивой и чересчур уступчивой барыней без церемоний. Тяпнув стаканчик-другой из погребца, закусив пирожком, Лавр и впрямь мгновенно заснул, уткнувшись в уголок. По счастью, спал он тихо, без храпа, не мешая графине незряче глядеть в быстро темнеющее окошко и думать свою тяжкую думу.

...Миновал уж месяц с того дня, 29 августа, который вновь, как четыре года назад, изменил жизнь Елизаветы. Воротясь поутру с кладбища, она, конечно, не застала Вольного; зато прямо с порога ей в ноги повалилась ревущая Улька, бормоча, что бес попутал... Она, конечно, была готова и к пощечинам, порке, ругани, крикам, но только не к тому равнодушию, с каким барыня отшвырнула ее ногой и, проронив: «В Любавино!» – не обмолвилась с нею больше ни словом. Как ни рвалась к ней Улька, как ни выла под дверь, Елизавета не пожелала ее видеть. Она не чувствовала к глупой девчонке ни злобы, ни ревности – просто брезгливость. Конечно, вся вина за сию случку лежала на Вольном. Улька просто попала ему под руку, как та молодка на Макарьевской гауптвахте, как множество иных-прочих баб и девок (а они были несомненно!). Как сама Елизавета, в конце концов... Происшествие на кладбище так изнурило ее, что она просто не в силах была болеть двумя болезнями враз. Избавившись от Ульки, вздохнула свободнее, отдавая себе, впрочем, отчет, что, когда б не история с Вольным, она не скоро смогла бы забыть пожары в церквях, знак серебряного венца и убийство Федора. То есть два потрясения друг друга взаимно уничтожили, дав Елизавете возможность занять свою бедную головушку иными мыслями.

Она более всего думала о Лисоньке и Эрике фон Тауберте, гадая, что же произошло с ними в тот роковой день, как вдруг воспоминание пронзило ее: Алексей-то Измайлов приезжал в Нижний из своего имения, расположенного близ Починок!..

От этой мысли сердце так заколотилось, что Елизавета принуждена была зажать его рукой. Данила сказал: «Бог весть куда она уехала, вроде как в Починки...» Конечно, в Починки! Ведь вполне возможно, что бегство Лисоньки и Тауберта почему-то расстроилось, и Алексей вновь встретился с той, которую любил. А ежели на сей раз его ухаживания имели успех? Он мог скрыть свое венчание и увезти Лисоньку в Починки. Если не сам, то через родственника, слугу, через отца, князя Измайлова, наконец! А уж как судьба забросила его потом на галеру «Зем-зем-сувы» и заставила назваться Лехом Волгарем, остается только гадать. Да и... полно, Алексей ли был там? Не ошиблась ли Елизавета, приняв Леха Волгаря за свою неизбывную любовь?

От этой догадки она ощутила разом и облегчение, и печаль и постаралась от них отмахнуться, как от всего неприятного. Что проку мучиться несбыточными мечтаниями? Ей на днях исполнилось двадцать три года. У нее дочь растет. И столько пережито!.. Пора взрослеть, пора брать судьбу в свои руки, а не подчиняться с готовностью ее прихотям! Вот Елизавета и задумала начать новую жизнь с поездки в Починки и поисков Лисоньки.

Но задумать – одно, решиться – другое, а собраться – и вовсе третье. Поэтому отправилась она в путь только на Покров день... И вот сидит теперь в выстуженной карете, глядя во тьму, клубящуюся за окном, силясь унять озноб, пробирающий до костей. Смешнее всего, что она даже толком не знает, куда ехать! Надеялась расспросить дорогу к измайловскому поместью, добравшись до Починок, а теперь что же?

Кажется, Елизавета задремала, а может быть, и нет. Во всяком случае, она поймала себя на том, что сидит выпрямившись, уставясь широко открытыми глазами во мрак, где только что мелькнуло нахмуренное лицо Алексея, вслушиваясь в отзвуки его голоса: «Метель кончилась! Проснись!..»

Она проснулась. Чистая, звездная, искрящаяся снегом ночь расстилалась вокруг, совсем недалеко маячил огонек, который тоже можно было принять за звезду, когда б он не дрожал, раскачиваясь и маня, словно некто посылал знак спасения заблудившимся путникам.

Елизавета вскочила, невольно вскрикнув от ломоты в затекшем теле, кинулась к Лавру, который все еще спал, уткнувшись носом в стенку. Стоило немалых трудов растолкать его и внушить, что сей путеводный свет не продолжение сна, не дьявольское наваждение, а действительность.

Но уж когда Лавр осознал сие, угомону ему не стало. Он вывалился из кареты, взлетел на козлы, благим матом гаркнул на застоявшихся, обмерзлых лошадей и погнал их так, что Елизавета, исстрадавшись от тряски, непременно велела бы ехать потише, когда б ей самой не хотелось поскорее добраться до жилья.

* * *

И все-таки, казалось, минула вечность, прежде чем призрачный огонек превратился в большой фонарь, подвешенный к перекладине высоких ворот и раскачиваемый ветром. Как ни ждали встречи с ним путники, это все же произошло внезапно. Лавру едва удалось уберечь упряжку от столкновения с оградой; в следующее мгновение он выправился и направил повозку в ворота. Лошади, почуяв отдых, рывком одолели подъездную аллею и замерли у крыльца, на коем светился еще один фонарь. Его держал невысокий человек в колушке, наброшенном на ливрею. Он проворно сбежал с крыльца, распахнул дверцу кареты и, протягивая Елизавете руку, проворчал – в голосе его с укоризною мешалось искреннее облегчение:

– Ласточка моя, Елизавета Михайловна! Статочное ли дело столь загулять? А что одна? Неужто князь вас без призору отпустил? Он, поди, последние волосья на себе вырвал! – Но поток добродушной воркотни вдруг прекратился, и лакей разинул рот при виде незнакомки, вышедшей из кареты и замершей, не спуская с него изумленных глаз.

Откуда он мог знать ее имя? Ее настоящее имя?

Эта мысль была первая, мелькнувшая у Елизаветы. Ото всех, кроме Татьяны с Вайдою, она таила свое родство с Измайловыми, и люди ее именовали по отчеству Васильевной: ведь Елагина звали Елагиным. Однако князя Измайлова звали Михайлом Ивановичем, и этот незнакомый слуга был первым человеком в жизни, назвавшим ее истинное имя – Елизавета Михайловна!

Впрочем, при виде растерянности, написанной на его морщинистой физиономии, Елизавета тотчас осознала свершившееся недоразумение: старый лакей ждал свою барыню, которую звали Елизаветой Михайловной, и просто-напросто обознался в потемках.

– Имя мое Елизавета Васильевна, я графиня Строилова, – объявила она с тем милым дружелюбием, которое всегда располагало к ней сердца.

– Ваше сиятельство, – снова заулыбался старик, – милости просим. Вы, верно, до княжны? А их нету. Как заутро уехали с батюшкой, так вот и ждем, и ждем! В такую лихую погоду разве путешествуют? Вот и вы, барыня, туда же!

Елизавета шла за ним, блаженно улыбаясь. Вся картина жизни сего милого, старозаветного дома с первого мига сделалась ей ясна. Старик, конечно, знает господ своих с малолетства и относится к ним с искренней любовью, которая ближе к родственной приязни и движется не подобострастием, а глубокой самоотверженностью. О таких отношениях со слугами можно только мечтать!

Не переставая причитать по поводу «лихой погоды», старик провел Елизавету в гостиную, усадив к жарко натопленной печке; сообщил, что зовут его Никитою, был он прежде дядькою молодого барина, теперь состоит при старом господине и княжне; успокоил графиню, чтоб о человеке своем не тревожилась: и упряжку, и кучера обиходят, как надо; кликнул девушку подать самовар, что и было исполнено.

После двух чашек чаю Елизавета впала в некую истому и едва слушала непрерывную болтовню Никиты, как вдруг одно слово проггло ее сонное оцепенение. И слово было – «Измайлово».

– Что ты сказал? – Елизавета даже привскочила, немало напугав Никиту.

– Сказал, что старое Измайлово, конечно, побогаче, покраще было, да князя нашего теперь отсюда и калачом не выманишь! – повторил он робко.

– Старое Измайлово? – не поняла Елизавета. – Это как же?

– Да подмосковная наша! – пояснил Никита, довольный таким вниманием к своим словам. – Там вотчина княжеская, а сей дом – новый, едва лет шести. Его барин для сына своего выстроил, для Лешеньки... Царство ему небесное! – Голос Никиты оборвался тихим всхлипом.

Елизавета ощутила, что сердце ее остановилось. Удушливая тьма напозла на глаза, и, сколь ни жарко было возле печи, пальцы свела ледяная судорога.

Много раз представляла она, как узнает об этом и что с нею станет. Думала, изойдет в слезах. Думала, упадет замертво! Думала, забьется в крике: «Нет, нет, быть этого не может!» Думала все, что угодно, только не знала, что самым страшным окажется это смертельное безразличие ко всему на свете, словно и сама она уже двинулась к вратам мира иного... Произнесла голосом равнодушно-сочувственным:

– Какое несчастье... – И вдруг, пораженная до глубины души надеждою, прошептала: – Когда это случилось?!

О, если бы Никита сказал: четыре года назад! Тогда у нее нашлось бы что ответить, как воротить радость сему дому, куда она так странно, так чудесно попала. И не пощадила бы себя, своего имени! Только бы...

Но уже следующие слова Никиты рассеяли надежду.

– Полгода назад, – с трудом сдерживая слезы, проговорил старик, – объявился тут один, черный, что ворон, а родом – сербьянин, с самых Балканских гор. Рассказывал, что был наш князюшка в плену у крымчаков, да бежал; потом пошли сотоварищи вместе в Сербское царство-государство, били османцев почем зря, и в конце концов попался нехристям наш Лешенька. Там, слышь-ка, звали его Лех Волгарь, не то Вук Москов. Волк московский, значит. Турки его так кликали, они его и зарубили... А незадолго до смерти обменялись они с тем Миленком-сербьянином клятвами, что, коли кто из них, побратимов, сгинет, так другой разыщет его родню и все обскажет. Вот и прилетел к нам черный ворон, сронил с крыл своих весть недобрую!..

Елизавета не заметила, когда Никита смолк. Подняла голову – старый слуга привалился к теплому боку изразцовой печки и дремал, сморенный поздним временем и старческой слабостью.

Она какое-то время смотрела на него, утирая тихие, неостановимые слезы, потом осторожно поднялась, прокралась мимо и вышла из гостиной.

Вот так всегда и бывает. Хочешь победить судьбу, хочешь показать, что ты и сама кое-что значишь в этом мире, а она снова и снова играет своей жестокой усмешкой и ставит преграды уже даже не счастью твоему, а самой малой надежде.

Ну что ж, Елизавета! Вот ты и узнала, что хотела узнать. Алексей, наверное, и впрямь женился на Лисоньке, а потом сложил голову в синих сербских горах. Не там ли показало его тебе темное зеркало Джузеппе Бальзамо? А Лисонька, конечно, осталась здесь, под приглядом старого князя... Можно ее дожидаться, открыть тайну Неонилы Федоровны, принять отцовский поцелуй... Но что теперь Елизавете в ласке этих похолодевших от неизбывного горя уст? Разве сможет она, полузабытая дочь, заменить отцу горячо любимого сына! И что ей теперь в откровениях молоденькой вдовы Елизаветы Измайловой? Какое странное, роковое совпадение: они были с Лисонькою сестрами, а теперь обе – вдовы, потерявшие одного и того же мужа!

Кошунственная, противоестественная правдивость этой мысли заставила Елизавету замереть. Она привалилась к стене, зашла в коротком, сдавленном рыдании, как вдруг старческие шаги зашаркали по коридору, и Елизавета заставила себя выпрямиться, обернуться к Никите.

– Что ж это вы, ваше сиятельство? – добродушно укорил он. – Обиделись на меня? Стар, слаб, сонлив стал. Простите великодушно! Неужто вы ехать намерились? Нет, нет, господа мне век сего не спустят! Али мы татаре какие? – всплеснул он сухонькими ручонками. – Пойдемте-ка, я вам в гостиной постелю, а поутру уж, наверное, князь да барышня воротятся. И не думайте никуда ехать: Лаврушка ваш давно спит в людской мертвым сном, кони расседланы, пора и вам преклонить голову!

Шепот его вовсе обессилял Елизавету, измученную тягостью черных новостей, и она покорно брела по анфиладе комнат, еще хранивших следы недавно оконченного обустройства, но обставленных по-старинному.

Никита, словно отвечая ее мыслям, бормотал:

– А обстановку всю перевезли из московского Измайлова. Лешенька среди сего богатства вырос, возмужал. Даже спаленку княгини Марии Павловны, покойницы, сюда как есть доставили: и кровать, и туалет заморской работы, и постель, и портрет ее... Не желаете ль взглянуть?

Он толкнул какую-то дверь, и на Елизавету пахнуло темной душной пылью. Никита вошел, и огонек его свечи маняще замигал из-за двери.

Елизавета не тронулась с места.

Этот русский старик, до гроба преданный господам своим, чудился ей кем-то вроде персонажа трагедии Еврипида, слугою рока, посланником судьбы, вестником бед. Он своим фонарем нечаянно заманил Елизавету в Измайлово, коего она не достигла бы, даже если бы искала нарочно. Он, почти без расспросов с ее стороны, открыл печальную тайну сего дома, чуть ли не с порога сообщив то единственное, что волновало ее в жизни. И зачем теперь отворил он дверь в мавзолей матери Елизаветы, когда она хочет уже не возврата к прошлому, а лишь воли отчаянию своему, облегчения в слезах? Не лучше ли остаться в коридоре, не лучше ли пройти мимо этой двери?..

– Что же вы, графинюшка? – заскрипела тьма голосом Никиты. – Пожалуйста сюда!

И, повинувшись чему-то более властному, нежели этот старческий голос, повинувшись новому приказу судьбы, Елизавета переступила порог.

Пламень свечи неровно озарял тюлевые занавеси, хрустальные флаконы на туалете, полог над широкой кроватью, тяжелые старинные шкафы. Тускло блеснуло зеркало, и Елизавета отвернулась, до дрожи испугавшись того, что могла бы увидеть в его глубине.

– Вот, – Никита, привстав на цыпочки, поднял свечу, – вот портрет княгини-матушки!

Елизавета, с покорностью мученика, ведомого на казнь, повела взором по тщательно выписанным складкам жемчужно-серого роброна, округлой руке, униженной перстнями, по голым плечам, выступающим из черной собольей оторочки; скользнула к буколкам вороненого парика, блестящим черным очам в обрамлении круто загнутых ресниц, к мягким, улыбочивым губам... Сиянье радости и красоты ярче свечи озаряло сей чудный, томный образ, глядящий из глубины лет!

Портрет был великолепен. Но почему же так вскрикнула Елизавета, почему заслонила дрожавшей рукою, почему задохнулась и вдруг, к ужасу и остолбенению Никиты, рухнула на пол без памяти?

Портрет был великолепен... С полотна почти тридцатилетней давности, из обрамления старомодных одеяний и украшений взглянуло на нее юное, нежное, очаровательное, родное личико Лисоньки!

* * *

Потом ей казалось, что бесчувствием было охвачено лишь тело ее, но не разум, ибо, придя в себя, она ощутила необычайную четкость мыслей, словно Некто Всемогущий проник в хаос, царивший в ее сознании уже который год, и преодолел, преобразовал его, расставив все по своим местам; так что все, прежде скрытое тьмою, было теперь ясно высвечено и обнажено... Приходилось лишь изумляться, что она не видела сего прежде.

Боже милостивый! Так вот почему такой ужас отразился в очах Неонилы Федоровны, когда венчанная жена Алексея открыла ей свое лицо! Вот почему она рухнула замертво! Подстроив западню для ненавистных Измайловых, она уловила туда свою дочь, ибо Елизавета была ее родной дочерью... Несчастную сразило даже не потрясение от свершившегося – скорее осознание, что рок, судьба непреодолимы, что человек жалок и бессилен в своих попытках противиться им, они всегда посмеются над ним.

Елизавета вновь поразила крепостью брони, в которую заковала себя ее мать во имя мести. Лишила любви дочь свою, обездолила и себя, и ее, надеясь, что рано или поздно потешит душу на обломках чужого счастья... О своем-то уже не думала! И только раз – уже после смерти! – встала на защиту своего дитяти, не одна, а вкупе со всеми теми, кого некогда вывела из подземных крымских темниц перепуганная, ничего не понимающая Рюкийе-ханым. Если Елизавете прежде казалось, будто награждена она лишь проклятиями призраков, то теперь

открылись их расположение, благословение, постоянная забота о ней. Таинственный мир отдал Рюкийе свой долг! Все квиты. Она вновь отправляется одна по новой дороге...

Нынче так много выяснилось, что, казалось, не остается в жизни ни одной загадки! Правда, странным было, почему мать отдала именно ей родовое измайловское колечко? Впрочем, наверняка и сие вскоре прояснится! Но даже и эта мучительная прежде тайна разом утратила свою важность. Главным было иное. И даже не то, что лелеемые Елизаветой надежды на отцовские объятия развеялись без следа, что княжной Измайловой оказалась Лисонька. В новом своем просветлении чувств и мыслей Елизавета вдруг осознала, что начинала становиться на путь Неонилы Федоровны – путь неприязни, ожесточенности, отстранения, недоброго равнодушия по отношению уже к своей дочери. К Машеньке! А Татьяна-то... Татьяна сказала, что надо назвать ребенка в честь Неонилы... Она, стало быть, знала? И не разубедила Елизавету, опасаясь ранить ее слишком больно?

Елизавета прогнала тоску, стиснувшую сердце, и заставила себя вернуться к прежним мыслям. В них была холодноватая расчетливость, прежде ею неизвестная, несвойственная ей. Ведь никогда прежде ей и не приходилось думать о спасении своего дитяти!

А сейчас речь шла именно об этом.

Мало воротиться домой и открыть сердце свое дочери! Елизавета вдруг поняла, что Машенька не имеет права на имя и наследство Строиловых; да и она сама – если на то пошло, потому что брак Елизаветы и Валерьяна не мог считаться действительным. Если прежде Елизавете оправданием могло быть венчание с единокровным братом, кое не признала бы церковь, то теперь выяснилось, что она – преступница, двоеженица, от живого супруга вторично обвенчанная... А значит, не графиня Строилова!

Ей казалось, что мысли эти – обоюдоострый нож, которым она сознательно и трезво отсекает от сердца все связи с прошлым, с горькой и ненужной, святой своей любовью. Она резала по живому, но иначе было нельзя. Невозможно!

Никто и никогда не должен узнать, что 29 августа 1759 года в Ильинской церкви свершилось венчание Алексея Измайлова и Елизаветы Елагиной. Да и кому знать? Неонила Федоровна умерла. Николка Бутурлин убит в Санкт-Петербурге. Погиб в Сербии Алексей... Батюшка, их венчавший, тоже преставился (Елизавета случайно об этом прослышала, еще когда летом разъезжала по пожарищам). Живых свидетелей того венчания нет. Осталось найти в церковной ризнице книги, что велись в 1759 году, и любой ценой уничтожить роковую запись. И тогда... Тогда останется в живых только память ее сердца. Вечная, неизбывная боль!

Ну, что же! Надо и это одолеть. Если ее мать смогла вырвать сердце из груди во имя мести, то ради своей дочери Елизавета тоже сможет сие совершить. Она ведь всю жизнь знала, что их счастье с Алексеем преступно, невозможно, так что же изменилось?

Ничего! Но почему новая слеза жжет твоё лицо, Елизавета? О чем ты плачешь? Или смутно прозреваешь, что любви не избудешь, как ни старайся, как ни рви душу, как ни холоди сердце?..

Легкий шорох вырвал Елизавету из оцепенения. Только теперь она поняла, что слышит его не впервые, что рядом, пока она думала свою печальную думу, все время кто-то был.

Никита, наверное. Надо найти в себе силы встать и распрощаться с этим домом до возвращения хозяев!

Елизавета открыла глаза и с трудом удержалась от крика, ибо почудилось ей, что портрет княгини Марии Павловны Стрешневой ожил, приблизился, источая слезы и одновременно сияя улыбкою, словно рассветные небеса – розовым туманом, и шепчет, и зовет:

– Лизонька! Милая... сестра! Наконец-то!

* * *

– ...Из тех она была, кои словно нарочно созданы, чтоб своих любезных принуждать скоро покинуть их, – проговорил князь, задумчиво качая головою. Серьга, которую он носил в одном ухе по моде прошлых веков, закачалась и заиграла в пламени свечи, придавая Михайле Иванычу диковатый и диковинный вид, особенно в сочетании с домашним, мирным шлафроком, обшитым собольими хвостами. – Сила очарования в ней такова была, что мужчина чуть не с первого взгляда обращался в раба, ища в ней милости. И как же сильно и хитро управляла она его душой! Но... в краснейшем яблоке всего более червей. Столь она сей победе радовалась, что принималась помыкать любовником, всякую гордость и своеволие в нем уничтожая, однако не осознавая, что убивает самую суть мужскую. И, чтобы живу быти, оставалось ему одно: восстать, возмутиться... Стало быть, ее покинуть, разлюбить. Виновен я, что жил с нею блудно, а после покинул. Но она мне отплатила стократ!

Слушая эту по-старинному цветистую, мучительную для нее речь, ибо князь Измайлов рассказывал о ее матери, Елизавета тихонько вздохнула; и тотчас Лисонька легко сжала ее пальцы. Души их, как и прежде, безошибочно чувствовали одна другую; печаль одной отзывалась в сердце другой. Иначе быть не могло: они оставались сестрами, пусть всего лишь двоюродными. Ведь брат Лисонькиной матери был отцом Елизаветы, и сейчас Михайла Иваныч с удовольствием заговорил о своем неугомонном шурине.

– Ох, лихой был человек граф Василий! Лют до амурных шалостей! Сестрица его, жена моя, покойница, уродилась тиха и смиренна настолько, что в нашу первую ночь после свадьбы потребовала, чтобы ее любимая горничная, Луша, ночевала у ее кровати. Та была в летах уже и, следовательно, опытнее жены моей, которая по новости ее положения и совершенной простоте нрава не могла решиться одна остаться с мужчиной на ночь, хотя бы это был муж ее. Та, сколько ни отговаривалась, не могла отбиться, пока я не дал ей способ невзначай ускользнуть из нашей спальни, – посмеивался Михайла Иваныч, глядя куда-то вдаль, словно оттуда ему ответно смеялись отважные глаза друга, светилось улыбкою милое лицо жены да мерцал мрачный взор той, которая стала для Измайловых и Стрешневых бичом Божиим...

Но, поистине, все мило, что о молодости ни вспомнишь, даже самое печальное, а потому князь продолжал с прежним воодушевлением:

– Граф Василий среди искушений роскошных столиц был первейший куртизан и везде, где бы ни являлся, шел по своей дорожке: «Аз пью квас, а коли вижу пиво, то не пройду его мимо!» Сказывал, даже некую калмыцкую княжну обольстил и умыкнул от родных степей, да беда – померла она в Царицыне. Погоревал граф Василий, конечно, а потом вновь за свое принялся. Смерть его настигла во цвете лет, а, по моему разумению, он один мог бы с Неонилою управиться, ее натуру злонравную переломить. Да на все воля божия! Сестру свою Машу он очень любил и, когда та собиралась к венцу, отдал ей колечко серебряное, родовое, кое носил, как старший среди Стрешневых, уверяя, что носящий его всегда и всюду будет от безвременной смерти сохранен. Мол, сам с тем колечком даже из моря Хазарского выплыл, хотя шторм бушевал невиданный, да еще и брата своей калмыцкой княжны спас. И погляди: словно бы впрямь крылась в том колечке сила охранительная! Не прошло и несколько месяцев, как наткнулся граф Василий в лесу на самострел и умер. Вот и княгиня Мария отдала колечко в игрушки доченьке, а вскоре после того меня навек покинула... Ну а тебе, племянница богоданная, как помогало сие колечко? – спросил князь, беря за руку Елизавету, сидевшую подле него.

Елизавета просияла улыбкою и кивнула согласно, но не открыла князю, о чем думает. Она припомнила странное, милосердное невнимание к ней смерти, облегченно вздохнула, что нашла наконец сему объяснение, и в очередной раз удивилась непостоянству человеческой природы: то она молит смерть принять ее, то отринуть; и все это с равным пылом и настойчи-

востью. Да, человек противоречив. Разве можно его за это винить, коли и сама судьба противоречива? В тот миг, когда наконец свела Елизавету с сестрою (до сих пор не верится, что это Лисонька сидит рядом, и сиянье радости не сходит с ее чудесного, томного образа), судьба ударила ее в самое сердце вестью об участи Алексея!..

Михайла Иваныч перевел взор с полустертого, истончившегося серебряного ободка, словно бы вросшего в тонкий палец Елизаветы, на ее лицо, с опаскою выискивая в нем признаки того змиевства, коим отличалось тонкое и фальшивое лицо ее матери. Да, к счастью, не нашел. Кое-чем она, конечно, схожа с Неонилою, особенно пышностью волос и редкостным, переменчивым оттенком больших светлых глаз. От кареглазого Василия унаследовала все прочее: черты лица, брови вразлет, дерзкий нос, маленький крепкий подбородок, рост, стать и повадку, а главное, эту мгновенно вспыхивающую улыбку, на которую трудно было не ответить любому, самому ожесточенному человеку.

Многое уже перегорело в сердце старого князя, много выболело, но с тех пор, как четыре года назад он утратил сына и нашел дочь, Михайла Иваныч ощущал в душе такое терпение и всепрощение, что даже не удивлялся себе, прежде жестокому и мстительному, сейчас смотревшему на эту печальную, задумчивую женщину с поистине отцовской нежностью. Безо всякой ревности он сравнивал ее с Лисонькой и отмечал, что обе были стройны, статны, ликом приманчивы; обе мастерски управляли средствами обольщения – и кокетства их тем страшнее были, что их заметить было трудно; обе могли составить красу даже столичных балов, хотя прелесть их была вовсе различна, и любой мало-мальски проницательный человек заметил бы, что сила Лисоньки в том и состоит, что она не ропщет на зло, ей угрожающее, не пытается с ним бороться, даже как бы не замечает его; в то время как Елизавета рождена бесконечно странствовать в поисках счастья, созидая, разрушая и вновь созидая его своим трудом.

Князь был осведомлен о трагедии, пережитой дочерью четыре года назад, о гибели Эрика фон Тауберта. Однако хоть страшные воспоминания порой и тревожили ее сны, заставляя верить, будто она никогда не забудет предмета своей первой сердечной страсти, Лисонька с радостью подчинилась выбору отца и обручилась с богатым хорошим человеком, соседом Измайловых по имению. Князь Румянцев искал в сем браке любви и выгоды в равной степени; Лисонька желала любви и устроенной женской судьбы, поскольку была из тех бойких барышень, неуловимых кокеток, которые таковыми лишь кажутся, а наяву их идеал – сделаться верной супругою, доброй хозяйкою и чадолюбивой матерью; отец был весьма доволен раскладом дел. Однако сейчас он не мог не понимать, что положение, устраивающее Лисоньку, неприемлемо для ее двоюродной сестрицы; и, принимая ее у себя, возобновляя родство, он, пожалуй, немало осложнит течение жизни своей и дочери, ибо в этой сероглазой женщине подспудно тлел некий беспокойный огонек, в любой миг могущий обратиться в пожар. И не только спалить ее, но и обжечь всех стоящих вокруг. И, хотя князь был мастер и любитель сохранять отношения родства и приязни, он украдкой лелеял надежду, что по дальности расположения Измайлова и Любавина их общение не будет слишком частым!

Князь с особенной пристальностью присматривался к Елизавете, потому что узнал от дочери, что именно она страстно любила его сына и готова была с ним обманно венчаться. Всяческие зародыши авантюризма давным-давно погибли в натуре князя, его не могли не возмущать в женщине такие отважность, изобретательность и попрание старозаветных правил, и все же, положив руку на сердце, он признавал, что по сочетанию лютой гордости и самой нежной чувствительности, по тайной пылкости своей Елизавета напоминала ему Алексея; несомненно, эти двое вполне подошли бы друг другу, когда б жестокая судьба не отбросила их далеко-далеко друг от друга, превратив некогда неприглядную Лисоньку в прелестную графиню Строилову, а Алексея Измайлова оставив в чужой, каменистой земле...

Князь думал, что слезам, которые он пролил по сыну, давно пришел конец, но нет, они не иссякли. И горе его сердца на сей раз смягчалось лишь тем, что он был не одинок: две дочери обнимали его, две дочери утирали его слезы, вместе с ним оплакивая Алексея!

* * *

Право, то был день бесконечных слез! Но если при сестре и дядюшке Елизавета порою могла заставить себя отвлечься, успокоиться, то, пустившись в обратный путь, она уже не осушала глаз. Несмотря на просьбы помедлить, еще погостить, она рвалась в путь. Ей необходимо было остаться одной, чтобы дать волю горю, умыться слезами. Потому что, оказывается, она и не представляла прежде, сколь многое значило для нее то роковое венчание.

Она стыдилась его и гордилась им. Она избегала его вспоминать и лелеяла эту память. Она не была безутешной святошей и не могла проклинать себя за Хонгора и Леонтия, за Сеид-Гирея и Вольного – за всех других, которых любила долго ли, коротко, хотя и знала наверное: Алексей – единственный, кто прошел в ее жизни светлой тенью. Но его уже нет. Значит, как ни болит душа, вновь и вновь обречена она искать невозможное счастье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.